
Ромен
Гари
Леди Л.
CORPUS

Леди Л.
Ромен Гари

Аннотация
Ромен Гари. Леди Л
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Библиография

Аннотация

Ромен Гари – один из самых ярких французских классиков, дважды лауреат Гонкуровской премии, автор двух десятков блестящих романов, которые читает весь мир. Видный дипломат, герой войны, летчик, командор ордена Почетного легиона, Гари родился в Вильне (ныне Вильнюс) и начал писать в 9 лет по-русски. Настоящее его имя – Роман Кацев, а псевдоним Гари образован от русского глагола “гореть”.

“Леди Л.” – драма страстной любви, разыгравшаяся в конце XIX столетия на фоне грабежей и политических убийств, совершаемых анархистами ради “светлого будущего человечества”. Спустя полвека почтенная английская герцогиня, некогда пылко влюбленная в анархиста-фанатика, рассказывает о пережитом старому другу, глубоко шокированному прошлым обожаемой женщины. Принято считать эту книгу прощальным подарком Гари своей первой жене, английской писательнице Лесли Бланш, некоторые черты которой угадываются в неотразимой

леди Л. По роману снят фильм с Софи Лорен и Полом Ньюманом в главных ролях, режиссер Питер Устинов (1965).

Публикуется в новом переводе Натальи Мавлевич.

Ромен Гари
Леди Л

Зачем, узрев вас, я, несчастный,
Качнулся, раненный стрелой,
А вы остались безучастной,
Как идол оловянный злой!

Безумной страстью обожженный,
О, как я мог так низко пасть,
Как мог попасть я к смерти в пасть,
Твоей, любовь, рукой сраженный!

Ода Человечеству, или Грамматическая поэма, посвященная Альфонсом Алле Жанне Авриль

Romain Gary
Lady L.

Перевод с французского
Натальи Мавлевич

© Éditions Gallimard, Paris, 1963
© Н. Мавлевич, перевод на русский язык, 2026
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2026
© ООО “Издательство Аст”, 2026
Издательство CORPUS ®

Глава I

Окно в парк было открыто. Букет тюльпанов на фоне небесной синевы ясного летнего дня наводил на мысль о Матиссе, которого не так давно постигла безвременная кончина[1], ему всего-то было лет восемьдесят. Даже опавшие лепестки около вазы выглядели как мазки кисти искусного мастера. “Природа явно выдыхается, — размышляла леди Л. — Ее обобрали великие художники: Тернер украл свет, Буден — воздух и небо, Моне — землю и воду; Париж, Италия да Греция в виде штампованных картинок мозолят глаза на каждой стенке; чего не написали художники, то отсняли фотографы, так что весь мир медленно, но верно становится похожим на публичную девку, которую раздевало и щупало множество рук”. Или же дело в том, что она сама, леди Л., слишком долго живет на свете. В тот день вся Англия отмечала ее восьмидесятилетие, круглый столик в передней был завален письмами и телеграммами, в том числе из Букингемского дворца. И так

[1] Примечания: 1

Анри Матисс скончался 3 ноября 1954 г. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, — прим. переводчика.)*

каждый год: все норовят грубо расставить точки над *i*. Она сердито взглянула на желтые тюльпаны: откуда, спрашивается, они могли взяться в ее любимой вазе? Леди Л. терпеть не могла желтый цвет. Это цвет предательства, сомнения, цвет настырных ос, заразных болезней, цвет старости. И вдруг в ней шевельнулось подозрение, она всмотрелась в цветы… Да нет, не может быть. Никто не знает. Просто оплошность садовника.

Все утро просидела она перед открытым окном с видом на летний павильон, подложив под голову подушечку, с которой никогда не расставалась и которую брала с собой во все поездки. На подушечке были вышиты мирно соседствующие друг с другом в раю звери; особенно ей нравились лев с ягненком и леопард, нежно лижущий в ухо лань, — всё как в жизни. Вопиющую нелепость этой сцены, к особому удовольствию леди Л., подчеркивал примитивный рисунок. За шесть десятков лет общения с великим искусством ей до тошноты опостылели шедевры, и ее все больше тянуло к аляповатым олеографиям, почтовым открыткам и слащавым викторианским картинкам с добрыми собачками, что спасают тонущих младенцев, котятками с розовыми бантиками и влюбленными парочками под луной, — всему,

что дает приятное отдохновение после гениальных творений с их утомительно высокими устремлениями. Рука леди Л. покоилась на трости с резным набалдашником слоновой кости, — по сути, она легко могла бы обойтись без этого предмета, но трость — непременный атрибут дамы преклонных лет, а этой роли, как нельзя более чуждой ее натуре, ей теперь подобало соответствовать. Глаза леди Л. улыбались золоченому куполу летнего павильона, который возвышался над каштанами на фоне чисто английского, тускло-голубого, как платьица английских девочек (все они на одно невыразительное, скучное лицо), благопристойного, с аккуратными облачками, неба, безликого, безупречного и *comme il faut,* точно сшитого на заказ у придворного портного.

Леди Л. всегда считала английский небосклон жутким занудой: ни тебе бурь, ни вихрей, ни затаенных угроз, даже самые сильные ливни, самые грозные грозы тут какие-то пресные, способные разве что полить газоны; благоразумные молнии никогда не поражают детей и тщательно избегают проезжих дорог; а вообще подлинно английское небо сеет затяжной вялый дождь и кутается в умеренный жидкий туман; это небо, отлично приспособленное для зонтиков. У него

хорошие манеры, так что оно никогда не позволит себе лишний раз громыхнуть, если поблизости нет громоотводов. Но леди Л. от этого неба нужно было одно: чтобы оно служило блеклым фоном золотому куполу ее павильона и чтобы она могла просиживать вот так часами у окна и смотреть на него, предаваясь воспоминаниям и грезам.

Павильон был построен в восточном стиле, модном во времена ее молодости. И набит всяческой экзотической дребеденью, которую она коллекционировала с безошибочным дурным вкусом и в пику настоящему искусству, так что звездным часом ее иронической карьеры стал визит допущенного в этот храм в виде особой милости Пьера Лоти[2], который прослезился от наплыва чувств.

— Видно, я уж никогда не изменюсь, — вдруг произнесла она вслух. — Как была, так и останусь немножко анархисткой. В придачу романтичной. Что весьма неудобно в восемьдесят лет.

Свет играл на ее лице, где единственным видимым признаком старости были желтоватый оттенок и некоторая сухость кожи, к чему она никак не могла привыкнуть и каждое утро

[2] Примечания: 2

Пьер Лоти (1850–1923) — французский писатель, известный романами из жизни экзотических стран.

удивлялась, глядя в зеркало. Свет тоже словно постарел. Полвека остававшийся ясным и ярким, он постепенно тускнел и терял краски. Впрочем, они с леди Л. все еще жили в ладу и согласии. Ее тонкие нежные губы еще не походили на иссохших мух, попавших в паутину морщин, только глаза, возможно, стали не такими шальными, и потаенное пламя сменилось в них насмешливым блеском. Она всегда славилась не только красотой, но и острым умом, все знали: леди Л. за словом в карман не полезет, всегда сумеет точно попасть в цель, но наносить удар не станет, так опытный фехтовальщик умеет обозначить свое превосходство, не унижая противника. Молодые люди смотрели на нее с восхищением: как, должно быть, эта женщина была когда-то хороша собой! Обидно, но приходилось мирить прошлое с настоящим. Да и разучились нынче как следует любить женщин. А все-таки она больше не узнавала себя в зеркале. Иной раз даже смеялась себе в лицо. Ведь правда, вот умора! Откровенно говоря, леди Л. никак такого не ожидала, за долгие годы она привыкла, что ее обожают, боготворят, и не допускала мысли, что время и с ней может сыграть такую шутку. Что за невежа это время! Ничего святого! Она, конечно, не жаловалась,

однако это было неприятно. И всякий раз, когда приходилось — а куда денешься! — смотреться в зеркало, с досадой пожимала плечами. Ведь правда, вот нелепость! Она прекрасно понимала, что перешла в разряд “милых старых дам”… да-да, мало того, что она угробила столько лет на то, чтобы считаться “дамой”, так еще изволь в придачу быть старой! “Даже теперь видно, какой она была красавицей!” Когда до нее доносился этот предательский шепоток, она делала вид, что не слышит, но еле сдерживалась, чтобы не выпалить одно очень французское словцо. Быть, как это пышно называется, “в почтенном возрасте” значит терпеть постоянное свинство, которым оборачивается каждое новое проявление этого самого почтения: то вам заботливо подают трость, хоть вы и не просили; то предлагают руку, стоит вам сделать шаг; то, едва вы зайдете в гостиную, поспешно закрывают окна; то шепчут: “Осторожно, ступенька!” — как будто вы слепы, а разговаривают с вами нарочито бодрым тоном, словно знают, что вы завтра помрете, но не хотят, чтобы знали вы. Да, ее темные глаза, ее тонкий, изящной лепки нос — его всегда называли “аристократическим”, — ее улыбка, знаменитая улыбка леди Л. — до сих пор приковывали взгля-

ды, но она прекрасно понимала: в жизни, как в искусстве, стиль — последнее прибежище тех, кому больше нечего предъявить, так что ее красота еще может прельстить художника, но любовника — уже нет. Восемьдесят лет! Невероятно! “Хотя — о черт! — лет через двадцать в зеркале просто будет пусто”. Думала она по-французски, несмотря на то что прожила в Англии полвека.

Справа был виден парадный вход в замок с колоннами и лестницей, широким веером спускавшейся к газону; Ванбру[3], бесспорно, был гением тяжеловесности; все, что он построил, давило землю, словно в наказание за ее грехи. Леди Л. ненавидела пуритан и одно время даже собиралась покрасить замок в розовый цвет, но Англия научила ее, что надо умерять свои желания, когда тебе все позволено, и стены Глендейл-хауса остались серыми. Она удовольствовалась тем, что украсила все четыреста комнат замка росписями-обманками на итальянский лад, а в длинных однообразных анфиладах, похожих на перроны — того гляди, прибудет поезд, — развесила отважно разгонявшие скуку картины Тьеполо, Фрагонара и Буше.

---

[3] Примечания: 3

Джон *Ванбру* (1664–1726) — британский архитектор позднего барокко.

По главной аллее медленно подъехал роллс-ройс, остановился у крыльца, и из него, дождавшись, пока шофер откроет дверцу, вышел ее внук Джеймс с кожаной папкой под мышкой.

Леди Л. внушали ужас кожаные папки, банкиры, семейные сборища и дни рождения; она ненавидела все чинное, приличное, солидное, самодовольное и прилизанное, но когда-то она выбрала эту дорожку по собственной воле, и теперь пойдет до конца. Всю жизнь она вела беспощадную террористическую борьбу, которая увенчалась успехом: ее внук Роланд стал министром, Энтони метил в епископы, Ричард был подполковником королевской гвардии, Джеймс заправлял Банком Англии, а ничто не было так ненавистно ее сопернице, как армия и полиция, если не считать Церковь и богатеев.

“Будешь знать”, — подумала она, глянув на павильон.

Семейство в полном составе ожидало ее в соседней комнате за столом, на котором высился устрашающий праздничный торт, и надо было продолжать игру. Родичей было не меньше трех десятков, и все недоумевали, почему она внезапно, без всяких объяснений покинула их и что могла делать одна в зеленой попугайной гости-

ной. Но она, видит Бог, никогда не бывала одна.

Итак, леди Л. встала и направилась к своим внукам и правнукам. Из них из всех она любила только одного, самого младшего, за дерзкие темные глаза, буйные кудри, за уже проглядывавшую в нем мужественную властность — сходство было поистине невероятным. Говорят же, что наследственность так и проявляется: через одно или два поколения. Она была уверена: когда подрастет, этот мальчик будет способен на страшные вещи, в нем угадывались задатки экстремиста. Быть может, она, леди Л., дала Англии будущего Гитлера или Ленина, который разрушит все до основанья. Только на него были все ее надежды. С такими глазами мальчуган, несомненно, прославится. Что же касается всех прочих отпрысков — она вечно путала, кого как зовут, — они пахли молоком, и это все, что о них можно сказать. Сын ее редко бывал в Англии, считая, что надо успеть насладиться миром, пока не кончился декаданс.

Все друзья леди Л. умерли молодыми. Ее французский повар Гастон по-дурацки скончался в шестьдесят семь лет. Похоже, теперь и умирать стали быстрее. Просто удивительно, скольких близких она пережила. Не считая сотен кошек, собак и птичек. Жизнь домашних животных

прискорбно коротка, и по этой причине она уже очень давно решила больше не заводить их, оставив при себе одного только Перси. Ведь правда, вот беда! Только начнешь привязываться к зверю, понимать и любить его, как он — раз! — и уходит от вас. Леди Л. ненавидела расставания и теперь предпочитала привязываться только к неодушевленным предметам. К некоторым вещам она испытывала самые дружеские чувства, и потом, уж вещи-то вас не покинут. А ей нужна была компания.

Она распахнула двери и вступила в серый салон; его называли серым по старой памяти, таким он был изначально, но сорок с лишним лет назад она велела отделать его белыми и позолоченными деревянными панелями, а в промежутках между ними устроить перспективы-обманки, населенные летучим сонмом персонажей итальянской комедии, и легкие пляшущие фигурки разогнали чопорно-холодный, мрачный дух этого помещения.

Первым навстречу ей, разумеется, устремился с едва заметным упреком в глазах — еще бы, ее ждали целый час — Перси, ее рыцарь, ее, как говорили в то время, “чичисбей”, безмерно преданный, предельно деликатный, неизменно

заботливый, чтобы не сказать докучный. Сэр Перси Родинер на протяжении двадцати лет носил титул придворного поэта-лауреата, то бишь официального стихотворца британской короны, он был последним певцом империи: сто двадцать торжественных од, три тома стихов, написанных по случаю таких знаменательных событий, как рождения или кончины членов королевского дома, коронации, военные и прочие триумфы; в течение долгого времени, с Ютландского сражения до битвы при Эль-Аламейне, он наравне с сэром Джоном Мейсфилдом доблестно возглавлял когорту мастеров английского бельканто и весьма преуспел в постыдном деле: сумел примирить поэзию с добродетелью; он также был избран в члены клуба “Будлс”, притом единогласно. Как бы то ни было, сэр Перси пережил всех прочих домашних зверьков леди Л., она так привыкла к нему, что была бы искренне огорчена, случись ему тоже покинуть ее. Впрочем, ему было всего семьдесят лет, хотя выглядел он намного старше. Внешне он был похож на Ллойда Джорджа: та же седая шевелюра, благородное чело и тонкие черты лица, но на этом сходство заканчивалось. Валлиец знал толк в женщинах и не церемонился с ними, что же касается Перси, то он, как

была уверена леди Л., оставался девственником. Раза два или три она пыталась заставить Перси расстаться с невинностью при помощи красоток полусвета, но он каждый раз спасался бегством в Швейцарию.

— Дорогая Диана…

Ей очень шло это имя. Дики сам его выбрал после долгих колебаний между Элеонорой и Изабеллой. Но “Элеонора” звучало слишком мрачно, наверно по вине Эдгара По, а “Изабелла” неминуемо напоминало бы о грязной рубашке королевы, носившей это имя[4]. В конце концов он остановился на Диане — вот где чистота и белизна.

— А мы уже забеспокоились.

Когда-то леди Л. подумывала: может, Перси — прекрасно маскирующийся извращенец, может, он пристает к маленьким девочкам в парке, или он педераст и нежничает со своим лакеем, или заставляет проститутку хлестать себя плеткой где-нибудь в темных закоулках Сохо, — но со временем эти романтические надежды, остатки иллюзий молодости, уцелевшие в ней после всех испытаний судьбы, окончательно разбились

[4] Примечания: 4

Испанская королева Изабелла I Кастильская (1451–1504) поклялась не менять нижнюю рубашку, пока последний мавр не будет изгнан из Гранады.

перед несокрушимой, тошнотворной моральной стойкостью поэта-лауреата, от которого так и несло благонравием. Он был до мозга костей добродетельным человеком, и один Бог знает, где и как ухитрилась угнездиться в нем поэзия. Кроме того, у Перси были голубые глаза и взгляд доброй собаки — ни у одного мужчины леди Л. не встречала такого сочетания. И, несмотря ни на что, она, пожалуй, любила его. С ним можно было сбросить маску старой дамы, наплевать на правила поведения в преклонном возрасте и вести себя естественно и свободно, не сдерживая свою пылкую двадцатилетнюю натуру; ведь время не старит, оно лишь гримирует нас и наряжает на свой лад. Леди Л. нередко задавалась вопросом, что она будет делать, если когда-нибудь и впрямь постареет. По правде говоря, она не думала, что с ней может такое случиться, но мало ли какие фокусы может выкинуть жизнь. Еще несколько лет у нее есть, а потом наверняка что-то произойдет, она не знала точно, что именно. Что ж, на случай старости у нее есть верное убежище — ее сад в Бордигере, она удалится туда и будет утешаться прекрасными цветами.

Леди Л. согласилась выпить чашку чаю. Ее окружила участливая родня, и что-то в этом было

устрашающее. Ей так и не удалось привыкнуть к мысли, что она стала родоначальницей всего этого стада в три с лишним десятка голов. И она даже не могла, глядя на них, сказать: “Я этого не хотела”. Напротив, хотела, сознательно и страстно, это было делом всей ее жизни. Но все-таки трудно понять, как столько безумной любви, вожделения, неги могло породить таких бесцветных, чопорных субъектов. Это было невообразимо и удручающе. Это пятнало, позорило любовь. “Эх, вот бы все им рассказать, — мечтала она, усмехаясь про себя и попивая мелкими глотками чай. — То-то забавно было бы посмотреть, как они ошалеют, как перекосятся от ужаса их самодовольные физиономии. Несколько слов — и весь их благоустроенный мир обрушится на их аристократические головы”. До чего соблазнительно! И если что-то удерживало ее, то уж никак не страх перед скандалом. Леди Л. вздрогнула и потуже стянула на плечах индийскую шаль. Ей нравилось ощущать на шее теплое ласковое прикосновение кашемира. Кажется, вся ее бесконечная жизнь сводилась к бесконечной череде сменяющихся на плечах шалей, к сотням и сотням шелковых и пуховых объятий. А кашемировые были самыми нежными.

Тут она вдруг заметила, что Перси что-то говорит ей. Он стоял рядом, держа свою чашку с чаем, и окружающие смотрели на него с восторгом и любопытством. Перси обладал потрясающим талантом изрекать банальности, достигал в этом искусстве немыслимых высот и мог дать сто очков вперед любому оригинальному оратору.

— Дорогая Диана! — обращался он к леди Л. — Вы прожили достойную жизнь, вы — яркий светоч, озаривший наш грубый, низменный век. И я хочу воспользоваться вашим юбилеем, чтобы, заручившись согласием ваших близких и даже, я сказал бы, по их настоянию, попросить вас позволить мне написать вашу биографию.

“Ну-ну, вот будет красота!” — подумала она по-французски, а вслух сказала:

— Вы не находите, Перси, что это несколько преждевременно? Не лучше ли немного подождать? Вдруг со мной произойдет что-нибудь интересное. А то читать про такую ровную, без всяких приключений жизнь, как моя, — скука смертная.

Все вежливо запротестовали. А она повернулась к правнуку и потрепала его по щеке. Неотразимые глаза. Черные, смешливые, жгучие… “Они у него помучаются!” — злорадно подумала она и

сказала со вздохом:

— Глаза у него точь-в-точь как у прадеда. Поразительное сходство.

Мать мальчика — на ней была вычурная голубая шляпка с цветами и птицами, какой позавидовала бы сама принцесса Маргарет, — удивленно сказала:

— Но я думала, у герцога были голубые глаза?

Леди Л. не ответила и повернулась к ней спиной.

Теперь ей бросилась в глаза другая шляпа, красовавшаяся на голове уродливой особы, если она не ошибалась, супруги ее внука Энтони, служителя церкви. Она присмотрелась: ни дать ни взять торт с кремом.

— Восхитительный праздничный торт, — сказала она и лишь потом перевела взгляд с шляпы на серебряное блюдо с кондитерским шедевром.

Теперь следовало сказать несколько слов самому неудачливому члену семейства Ричарду, который был всего лишь подполковником гвардии Ее Величества. Так, с церковью и армией покончено, остались правительство и банк, и леди Л. решительным шагом направилась к ним. Роланд довел до совершенства чисто английское искусство выделяться полной незаметностью.

Много лет подряд он возглавлял какое-то заваляющее министерство и в конце концов привлек своей недюжинной заурядностью и бесцветностью, своей тусклой внешностью и дряблым характером внимание премьер-министра, так что теперь его прочили в преемники Идена на посту главы Министерства иностранных дел; консервативная партия, судя по всему, отдавала ему предпочтение перед Рэбом Батлером и уже видела в нем соперника Макмиллана. Таким пресным людям в Англии обеспечен успех. Чтобы подлинный аристократ домогался власти, это представлялось леди Л. чем-то неслыханным; когда в правительство рвется простолюдин, это совершенно естественно, но старшему сыну герцога Глендейла опускаться так низко не пристало. Что такое правительство, как не собрание управляющих, то есть слуг, их выбирает себе народ, это нормально, в этом, собственно, и заключается демократия. Леди Л. спросила Роланда, как поживают его жена и дети, сделав вид, будто не помнит, что они здесь, он безропотно предоставил ей эти сведения, интереса в них не было никакого, но это единственная тема, на которую они могли поддерживать диалог.

Ну вот, почти всё. Осталось только совершить

ежегодный ритуал: попозировать фотографу для обложки “Татлера” или “Иллюстрейтед Лондон Ньюс” и распрощаться с гостями. Но прощание — дело недолгое. А дальше — никаких церемоний до самого Рождества. Леди Л. зажгла сигарету. Ей все еще казалось дерзким и забавным вот так взять и закурить на людях; она никак не могла свыкнуться с мыслью, что теперь женщины преспокойно курят и это стало чем-то общественно приемлемым. Внуки и внучки продолжали светскую болтовню, и время от времени она изящно кивала, как будто слушала, что они там говорят. Она и вообще-то никогда не любила детей, а некоторым из этих деточек уже за сорок — совсем смешно! Она еле сдерживалась, чтобы не отослать их в детскую — пусть себе там играют в свои игрушки: банки, парламенты, клубы и военные штабы. Дети особенно несносны, когда становятся взрослыми и докучают вам своими “проблемами”: налоги, политика, деньги… Теперь уж никто не стесняется говорить о деньгах в присутствии дам. Раньше мужчины о денежных затруднениях помалкивали: или у тебя есть деньги, или ты берешь в долг. Но сегодня они эмансипировались и все больше рассматривают женщин как равных. Женщины больше не господствуют.

Даже проституция отменена. Хорошие манеры позабыты: того гляди, кто-нибудь приведет к вам на ужин американцев. Когда она была молодой, американцев попросту не существовало, их еще не открыли. В “Таймс” за много лет можно было встретить упоминание о Соединенных Штатах разве что в путевых заметках вернувшегося из этих краев первопроходца.

Для позирования заранее приготовили кресло, то же, что и во все предыдущие сорок пять лет, и поставили его там же, где всегда: под портретом Дики кисти Лоуренса и ее собственным кисти Больдини; вокруг уже хлопотал фотограф с пухлыми ляжками. И развелось же этих педерастов. Один Бог знает почему. Леди Л. терпеть не могла миньонов, иначе и быть не могло — она слишком любила мужчин. Этих красавчиков, конечно, и раньше было предостаточно, но тогда они не кичились своими вкусами, не так жеманились и держали в строгости свои херувимские задницы. Она брезгливо взглянула на этого петушка, ее так и подмывало сказать ему пару ласковых — что за наглость являться сюда и благоухать тут духами Скьяпарелли. Но не стоило: оскорблять позволительно только людей своего круга. Фотография появится завтра во всех газетах. И так

каждый год.

Она носила одно из самых громких имен во всей Англии, и когда-то высшее общество было потрясено и даже скандализировано ее красотой и экстравагантностью. Впрочем, точеное личико было до некоторой степени извинительным ввиду ее французских корней. К тому же, из уважения к королевскому двору и чтобы не дразнить публику, она много путешествовала. Но это было давно, теперь ей все простили, и она сама стала в некотором роде национальным достоянием. Что прежде выглядело предосудительной эксцентричностью, теперь почиталось как очаровательное проявление британской оригинальности. Итак, она села в кресло, оперлась одной рукой на трость с набалдашником, приняв ту самую позу, какой от нее ожидали, и даже постаралась подавить улыбку, которая всегда ее немного выдавала; правительство расположилось справа, церковь — слева от нее, а банк и армия — позади; все остальные выстроились в три ряда, кто позначительнее — ближе в центру, а кто помельче — с краю. По завершении фотосессии она изволила выпить еще чашку чаю — единственное, чем можно заняться в обществе англичан.

Тогда-то до ее ушей донеслись и тут же насторожили ее слова “летний павильон”, их произнес Роланд.

— На этот раз, — говорил он, — боюсь, уже ничего не поделаешь. Там решено проложить автодорогу. Весной придется его снести.

Леди Л. отставила чашку. Родственники уже много лет уговаривали ее продать павильон и прилегающий к нему участок земли: дескать, налоги стали непосильными и содержать его в порядке трудно — словом, несли всякую чушь. Она не придавала этим дурацким разговорам ни малейшего значения и всякий раз прерывала их, молча пожимая плечами, — “очень французский”, как считалось, жест. Но теперь, похоже, придется иметь дело не с родственниками. За экспроприацию земель проголосовало правительство, работы должны начаться весной. Павильону конец. “Разумеется, — рассудительно сказал Роланд, — будет выплачена компенсация”. Леди Л. бросила на него испепеляющий взгляд: вот как, компенсации! У нее отнимают самое дорогое, а этот идиот бормочет о компенсации.

— Вздор! — отрезала она. — Со мной это не пройдет!

— Увы, Душенька, делать нечего. Мы же не

можем нарушать закон.

Вздор! Законы можно изменить, они для того и существуют. Она тысячу раз всем повторяла: павильон дорог ей как память. В конце концов, у власти все еще консерваторы, свои люди. Так пусть уладят этот пустячный вопрос и не беспокоят ее.

Она привыкла, что ее воля выполняется, и потому была уверена: вопрос улажен. Однако, к ее удивлению, оказалось, что это не так. Родня упорствовала. Все были вежливы, почтительны, все ей сочувствовали, но стояли на своем: участок переходит в собственность государства. Какой был бы подарок лейбористам накануне выборов, если бы газетчики, а им только дай предлог напасть на видных людей, сообщили, что семья члена правительства, к тому же одна из самых знатных в королевстве, мешает строительству новой дороги и препятствует осуществлению проекта, благоприятного для развития всей области. Социалисты и так без конца нападают на, как они выражаются, "привилегированные классы", незачем им подыгрывать. Нет, павильон снесут, это не подлежит обсуждению.

— Честь рода обязывает, — проговорил Роланд, проявляя свой талант изрекать прописные ис-

тины, делавший его одним из лучших ораторов консервативной партии.

И, превзойдя себя, с тонкой улыбкой добавил:

— А при демократии — особенно.

Леди Л. была убеждена, что демократия сродни покрою одежды и не более, однако было не время смущать этим суждением членов семейства. Поэтому она прибегла к средству, какого до сих пор не употребляла: попыталась разжалобить их. Она жить не может без вещей, которые собраны там, в павильоне, и ни за что не расстанется с ними. Ну, это не беда — вещи можно перенести в другое место.

— Перенести в другое место? — повторила леди Л.

Ее вдруг охватило отчаяние близкое к панике, и она с трудом овладела собой, чтобы не расплакаться перед чужими. В который раз ей захотелось все сказать им, выложить всю правду, наказать всех этих надменных, чванливых тупиц. Но она подавила это желание: не хватало только в один миг разрушить дело всей жизни. Она встала, стянула шаль на плечах, окинула родичей гордым, презрительным взглядом и вышла из зала.

Все были озадачены и расстроены этим по-

ступком, удивлялись молодому запалу, который вдруг проявился в ее походке и взгляде, и даже некоторое беспокойство сквозило в иронично-жалостливом тоне, каким они говорили друг другу:

— Она всегда была немного эксцентрична. Бедная Душенька не понимает, что времена изменились.

Глава II

Разумеется, Перси последовал за ней и так трогательно старался ее успокоить — он поговорит с премьер-министром, напишет письмо в “Таймс” с протестом против вандализма властей, — что она оперлась на его руку и ласково улыбнулась сквозь слезы. Каждая нежная улыбка леди Л. была для него, как она знала, бесценным даром, и он, вероятно, помнил наперечет все такие счастливые мгновения.

— Дорогая Диана…

— Ради всего святого, поставьте чашку, Перси. У вас дрожат руки. Вы стареете.

— Я бы и в двадцать лет задрожал, увидев, что вы плачете. Возраст тут ни при чем.

— Говорю вам, Перси, поставьте чашку и послушайте меня. Я попала в ужасное положение. Ну вот, теперь у вас и коленки задрожали. Надеюсь, вас не хватит удар от волнения? Давление у вас нормальное?

— Да я в отличной форме. Сэр Хартли только что обследовал меня с ног до головы.

— Прекрасно. Потому что вас ждет потрясение,

друг мой.

Поэт-лауреат слегка напрягся: неизвестно, какой дротик она метнет в него на сей раз. Так было всегда, и поскольку Перси почти неотлучно состоял при леди Л. уже лет сорок, на лице его застыло нервозно-боязливое выражение. По сути, ему нравилось страдать, таковы все плохие поэты. Они любят раны, но не слишком глубокие, а в случае Перси само то, что их наносит столь блистательная женщина, приятно щекотало самолюбие. Что же до всего прочего, то он признавал только платоническую, недостижимую любовь, и если бы когда-нибудь эта женщина предложила ему нечто большее, он бы немедленно сбежал в Швейцарию. Однако леди Л. совсем не находила это смешным. Как может быть смешным человек, способный любить вас сорок лет! Просто он, бедный, с сумасшедшим упорством держался за свою добродетель и чистоту, как все подлинно возвышенные натуры, для которых любовь — исключительно общение душ и которым претит сама мысль, что в нем также участвуют руки и еще бог знает что.

— Вы должны мне помочь поместить в надежное место некоторые… как бы вам сказать, милый Перси?.. компрометирующие вещи, которые тем

не менее мне очень дороги. Дороги сердцу. И постарайтесь в кои-то веки проявить понятливость. А я постараюсь не слишком вас пугать.

— Дорогая Диана, я нисколько не боюсь. Вы никогда, сколько я вас знаю, не совершали ничего такого, что могло бы запятнать вашу репутацию и честь славного имени, которое вы носите.

Леди Л. искоса взглянула на него, и легкая улыбка коснулась ее губ. *Ça va être assez marrant*[5], — подумала она и удивилась, как быстро приходят на ум французские выражения, употреблять которые случалось ей довольно редко.

Они прошли через просторный голубой салон, где висели картины Тициана и Веронезе, совершенно продрогшие в музейной стерильности, особенно нестерпимой из-за высоченных потолков и пышного убранства. Не зал, а высеченный в камне гимн Великобритании, и столь же громоздкий, как оригинал. Дворцы, что возводил угрюмый Ванбру, служили ему средством излить свою ненависть ко всему живому, радостному, светлому и легкому; по счастью, прожил он не очень долго и не успел настроить их так много, чтобы Британские острова под тяжестью его тво-

---

[5] Примечания: 5
То-то будет умора *(франц.)*

рений опустились на дно морское. Леди Л. храбро вступила с ним в бой, но проиграла: тщетно все ее итальянские обманки, все Тьеполо и Фрагонары пытались придать легкость толстенным стенам, Ванбру победил, Глендейл-хаус по-прежнему был для англичан предметом восхищения и гордости, а его архитектура — воплощением духа и традиций нации. Должно быть, несмотря на годы, прожитые в этой стране, леди Л. оставалась слишком женственной, чтобы ценить по достоинству величие, монументальность и прочность, она предпочитала гению талант и вовсе не требовала от искусства и от людей, чтобы они спасали мир, пусть просто делают его немного приятнее. В искусстве ей нравилось то, что ласкает взгляд, а не шедевры, пред которыми следует почтительно склоняться. Гении, возлагающие душу и тело на алтарь бессмертия, напоминали ей идеалистов, готовых ради спасения мира разрушить его до основания. Сама она давно свела счеты с идеализмом и идеалистами, но скрытая рана так и не зажила, и она на всю жизнь сохранила на них *un chien de sa chienne*[6] — одно из ее любимых словечек, которое ей так и не удалось перевести

[6] Примечания: 6
Затаить злобу, иметь зуб *(франц.).*

на английский.

Они спустились по широким ступеням парадной лестницы и вошли в каштановую аллею. До павильона, окруженного дикими зарослями, надо было пройти метров восемьсот, то были ее личные угодья, куда не допускался ни один садовник. Эти домашние джунгли были ей милее всех самых роскошных садов, которых она навидалась за всю жизнь. Здесь вольготно рос бурьян, тропа едва виднелась среди буйного кустарника и колючей ежевики и каждое лето свободно расползались по земле плебейские полевые травки.

День клонился к закату, тени деревьев в аллее и на скошенных газонах удлинялись; листья еще выглядели вполне зелеными, свежими, но под лучами солнца проступала зрелая бронза. Парк был тщательно ухожен и подстрижен. Симметричные цветочные узоры вокруг пруда, кусты чайных роз сорта “английский файв-о-клок” (весьма подходящее название), посаженные на подобающем расстоянии один от другого и издающие благородно-сдержанный аромат, мраморные Венеры в стыдливых драпировках и купидоны, навевающие мысли не столько об алькове, сколько о детском садике, лужайки, только и ждущие неспешных игроков в крокет, — леди

Л. настолько привыкла к этому безукоризненно упорядоченному мирку, что он давно не раздражал ее своей благонравной пошлостью. Она каждый день ходила через парк в свои джунгли, не обращая на него внимания. Однако около пруда она остановилась и улыбнулась паре черных лебедей, которые тотчас заскользили к ней по покрытой кувшинками глади, достала из кармана хлебные корки — у нее всегда был с собой запас хлеба для лебедей и орехов для белок — и бросила величественным птицам. Две грациозные шеи изогнулись, два клюва погрузились в воду, и тут же эти до крайности эгоистичные создания медленно поплыли прочь, даже не помышляя о благодарности, — они позволили вам любоваться собою, вот и будет с вас! За это царственное безразличие леди Л. их и любила, она знала: таким все принадлежит по праву. Проводив взглядом лебедей, она вздохнула и сказала:

— Предупреждаю с самого начала, Перси, это будет любовная история. О, я так и знала! Не пугайтесь, мой друг. Обещаю не слишком вдаваться в детали… Если все же вам станет неловко, скажите — и я замолчу.

Глава III

Аннетта Буден родилась в конце улицы Жир, в тупике за известным заведением мамаши Мушетты, где любителям пикантных развлечений предлагали богатый выбор, в прейскуранте значились такие игры, как осел, пастушка, артишок, моргунчик, маргаритка, розочка, Марат в ванне, горчица с эстрагоном, бинокль Наполеона, казак при Бородине, взятие Бастилии, избиение младенцев, гвоздь из стены, монетка со стола (то и другое достается способом, не предусмотренным природой), — словом, все, скрупулезно перечисленное в книге Арпица “История буржуазного порока”, прекрасно проиллюстрированного сочинения, которое леди Л. в свое время преподнесла на Рождество французскому послу в Лондоне, слишком, на ее взгляд, много возомнившему о себе и своей миссии. Первые идеи и нравственные принципы в голову совсем еще юной Аннетты вкладывал отец, по профессии типографский наборщик; вечерами он садился на край кроватки своей единственной дочери и внушал ей, что, помимо солнца, мир озаряют три светоча, во имя

которых должен жить и быть готовым умереть каждый гражданин, будь то мужчина, женщина или ребенок, — это Свобода, Равенство и Братство. Малютка возненавидела эти три слова, во-первых, потому что они каждый раз сопровождались волнами винных паров, а во-вторых, потому что отца часто забирали в полицию по обвинению в незаконной печати и распространении подрывных памфлетов, призывающих народ взбунтоваться против установленного порядка; и каждый раз, когда в их жалкое жилище врывались двое бугаев и надевали на месье Будена наручники, Аннетта бежала во двор к матери-прачке с криком:

— Свобода и Равенство опять поволокли папашу в участок!

Все время, которое месье Буден проводил не в тюрьме и не в кабаке, он обличал плачевное состояние умов и нравов человечества. Это был здоровенный усатый детина с хриплым голосом, легко наполнявшимся трагическим пафосом; он желал переделать мир, “разрушить его до основанья” и “построить заново, с пустого места” — вот два его излюбленных выражения. Возможно, из-за того, что он, прекрасно видя, как жена надрывается на тяжелой работе, не

помогал ей ничем, кроме благородных речей, Аннетта прониклась отвращением ко всему, что он превозносил, и уважением ко всему, что он порицал; вот почему впоследствии она говорила, что успеха в жизни добилась благодаря воспитанию, полученному от отца. Она очень рано поняла, что уроки месье Будена могут быть весьма полезны, если применять их с обратным знаком, а потому внимательно слушала своего наставника. Месье Буден часами втолковывал Аннетте, почему следует убить префекта полиции, при этом от него так воняло луком и перегаром, что ей этот префект представлялся прекрасным принцем, и она грезила о нем по ночам. А гнусавый отцовский голос опротивел ей не меньше, чем голос осла Фернана, нередко будивший ее среди ночи, когда великосветская публика приходила потешиться некоторыми классическими представлениями, которые давались в заведении мамаши Мушетты. Но самая лютая ненависть закипала в ней, когда она смотрела, как мать горбатится по четырнадцать часов в сутки, чтобы заработать гроши для пропитания семейства: вид этой слишком рано состарившейся женщины, с утра до ночи занятой стиркой, возмущал ее и внушал отвращение к бедности, переходящее на самих бедняков,

а между тем отец, продолжая ее просвещать, описывал ей буржуазный брак как инструмент капиталистического порабощения. “Брак — это воровство, — вопил он, тараща круглые, как пуговицы, глаза и шевеля тараканьими усами, — брак — это форма частной собственности, несовместимой со свободой личности. Обязывать женщину брачным договором принадлежать всю жизнь одному-единственному мужчине — это феодализм!” Эти рассуждения побуждали Аннетту мечтать о браке и частной собственности; когда же отец переключился на религию, принялся учить ее, что Бога нет, и высказывать все, что он думает о Святой Деве, она стала прилежно ходить в церковь. Пока жена убивалась на работе, месье Буден с пеной у рта разглагольствовал о праве женщин распоряжаться своей судьбой или просто сидел, тупо глядел в угол, поглаживая бороду и усищи а-ля Наполеон III, жевал зубочистку, вздыхал и предавался мечтам о чем-то, что в конечном счете сводилось к бутылке абсента. Мать Аннетты подалась в прачки, когда он ушел из типографии и посвятил себя делу Бакунина и Кропоткина. Она обстирывала все заведения на улице Жир, по крайней мере, все те, которые вообще считали нужным стелить клиентам белье. Доктор Левек

в своей книге о проституции писал, что девушка с улицы Жир в среднем обслуживала в сутки от сорока до пятидесяти клиентов; в дни национальных праздников и военных парадов это число могло возрастать до ста пятидесяти и достигало максимума 14 июля — как видно, штурм Бастилии все еще горячил кровь мужчин. Аннетта бегала в лавку за покупками для проституток, слушала их разговоры о причудах клиентов и о том, чей сутенер лучше, воспринимая их как технические совещания профессионалок, и вид девушки, которая спокойно прохаживается по улице в ожидании клиента, казался ей куда менее позорным, чем вид матери, склонившейся над корытом с грязным людским бельем. Да и в дальнейшем леди Л. никогда не рассматривала чье-либо сексуальное поведение как критерий добра и зла. Не этим, полагала она, измеряется моральный уровень. Привычные с малых лет фаллические граффити на стенках по сей день казались ей далеко не такими непристойными, как именуемые славными поля брани; по ее мнению, порнография — это не рисунки, показывающие, что и как люди выделывают со своими собственными частями тела, а политические излишества, из-за которых льется кровь; жесткие

требования клиентов к проституткам не идут ни в какое сравнение с садизмом полицейских режимов; распутство телесное значительно уступает мыслительному, а эротические извращения — всего лишь детские шалости по сравнению с бредом идейных маньяков, дай им только волю его осуществить, — короче говоря, не задница, а голова позорит человечество. Но мораль чурается удовольствий. Проституток таскают в тюремную больницу Сен-Лазар и осматривают врачи, а ученых, готовых вместо безобидного сифилиса распространить по миру куда более страшную, да еще и поражающую потомство болезнь, объявляют доблестными мужами. Леди Л. была не склонна к философским и тем более политическим размышлениям, однако после первых атомных взрывов она написала наделавшее много шуму письмо в “Таймс”, в котором сравнивала высоконаучные развратные действия с низменно-телесными и требовала, чтобы ученых из Харуэлла[7] поставили на учет и регулярно подвергали медицинскому осмотру, чтобы умственную проституцию, как и другую, обыкновенную, держать под строгим контролем.

[7] Примечания: 7

Имеется в виду расположенный в Харуэлле (Великобритания) Исследовательский центр по атомной энергии *(AERE)*.

Она часто с растроганной улыбкой вспоминала улицу Жир, где порок был еще так мал, его было так легко насытить и он не притязал на то, чтобы потопить весь мир в крови. Извращенцы, которые туда ходили, губили только самих себя, мечтали только о мгновениях мирного и даже нежного забытья среди тлетворных ароматов бодлеровских цветов зла; они стекались с наступлением ночи в эту узкую улочку, где их ждала под фонарем сама смерть с длинным шарфом на шее и с цветком в зубах, а внутри, в заведениях, разливались хлипкими трелями пианино и выпевали жалостные тягучие мелодии аккордеоны. “Все в общем-то такое же бесхитростное и невинное, как парочка влюбленных голубков или как Поль и Виргиния”[8], — думала леди Л.

Итак, образованием Аннетты занимался отец, ей было восемь лет, когда он стал учить ее вызубривать и читать наизусть отрывки из “Анархии” Кропоткина. Так что очень скоро она декламировала ему бунтовщические призывы, как другие дети — басни Лафонтена. Довольный месье Буден слушал, одобрительно кивал и затягивался сигарой, а девочку мутило от густого смрадного

[8] Примечания: 8

“Поль и Виргиния” (1788) — повесть Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера о чистой идиллической любви.

дыма. Мать во дворе стирала, выбиваясь из сил, а отец рассуждал о справедливости, человеческом достоинстве и переустройстве мира; возможно, спустись он хоть раз во двор помочь жене, у Аннетты остались бы не столь тяжелые воспоминания об этих уроках. Бедная женщина умерла, когда Аннетте исполнилось четырнадцать лет, и ее отец счел совершенно естественным, чтобы она продолжила то, чем занималась мать, и тоже стала прачкой; сама она была слишком подавлена, чтобы как-то воспротивиться, и какое-то время покорно стирала. Так что у месье Будена не было недостатка ни в хлебе, ни в абсенте, и он продолжал просвещать дочь, рисуя перед ней радужное будущее, которое ждет человечество после отмены семьи и классового общества, когда свободная от всяческого принуждения личность предстанет наконец во всей своей природной красе и на земле воцарится всеобщая гармония — гармония душ, умов и тел. Под действием абсента месье Буден возносился на такие высоты идеализма, что Аннетте приходилось раздевать и укладывать его в постель, чтобы он не расшибся. Однако вскоре теоретические нападки на институт семьи перешли в более конкретный практический план, и девочка ясно

увидела, что он разумеет под освобождением детей и родителей от оков буржуазной морали и груза предрассудков. Когда это происходило, Аннетта выскакивала из постели, костерила папашу последними словами и, вооружившись скалкой, лупила его по голове, тогда месье Буден, прихватив бутылку, быстренько ретировался. Она же запиралась на ключ и долго лежала без сна, предаваясь мечтам о префекте полиции, римском папе, правительстве — обо всем, что поносил отец и что поэтому казалось ей прекрасным. Но никогда не плакала. Слезы — привилегия девчонок из богатых семей. Когда-нибудь она тоже разбогатеет и сможет позволить себе такую роскошь, но пока что она ей не по карману. Ей вовсе не улыбалось и дальше гнуть спину над корытом, и порой она сама удивлялась, почему так упорно противится уговорам сутенеров и шлюх, которые все спрашивали, чего она, молодая и красивая, ждет, чтобы устроить свою жизнь. Не стыд и не совесть удерживали ее, а какая-то глубоко въевшаяся, органическая чистоплотность — возможно, все дело в том, что ее вырастила прачка. Поначалу она пыталась найти работу в приличных местах: в модных лавках, кафе и кондитерских, но мешала ее красота; ее всегда

начинал домогаться хозяин, она отказывала, и ее выставляли за дверь. Что ж, Аннетта была не глупа и наделена пресловутым французским здравым смыслом, который и в дальнейшем никогда не изменял ей, а потому вскоре смекнула: раз так или иначе она в конце концов окажется на панели, так уж лучше прямо с нее и начать; навидалась она стареющих девиц, которые стараются держаться в темных закоулках, подальше от света, — жалкое зрелище! Что еще сказать? Ее первый клиент испытал не столько удовольствие, сколько удивление.

— Мне повезло, — сказала леди Л. — Я ни разу не подцепила никакой заразы.

Поэт-лауреат, казалось, обратился в статую. Вокруг пруда было много других изваяний: Диана, Аполлон, Венера, Пан, которые любезно приняли Перси в свою компанию. Окаменевший, он стоял на газоне с тросточкой в руке, и ужас, застывший в его голубых глазах, пожалуй, делал их еще интереснее. Поэт был потрясен до глубины души. Леди Л. покосилась на него: милейший Перси всегда втайне мечтал красоваться посреди уютного парка в виде увенчанной лавровым венком мраморной статуи работы какого-нибудь именитого скульптора, члена Королевской академии

изящных искусств. Ну вот, мечта его исполнилась… или почти. Возможно, он предпочел бы предстать перед потомством не с такой ошарашенной физиономией, но нельзя же требовать слишком многого.

— Что? — выговорил он наконец.

— Ничего, мой друг. Я просто сказала, что у меня всегда было отменное здоровье.

— Как хотите, Диана, но я не вижу, как несчастное дитя, о котором вы зачем-то решили рассказать мне, связано…

— Со мной, — закончила леди Л. — Разумеется, никакой связи больше нет.

Поэт-лауреат взглянул на нее крайне недоверчиво, но промолчал.

Аннетта приводила гостей к себе домой, а живший там же месье Буден все толковал о высоких устремлениях человеческих душ и делал вид, что не имеет понятия, откуда берутся деньги, благодаря которым он не знает нужды. Она мирилась с этим до тех пор, пока он снова не попытался применить на практике свои теории и свергнуть родственное иго; на этот раз Аннетта не ограничилась руганью, а вышвырнула его вон и велела, чтобы духу его тут больше не было. Месье Буден мгновенно забыл свои инвективы против

института семьи и призвал небо в свидетели неблагодарности и жестокости, которую дочь проявляет к родному отцу.

Несколько месяцев спустя труп Будена нашли в Сене с торчащим в спине ножом. По всей вероятности, он стал провокатором и стукачом, доносившим полиции на своих друзей-анархистов. Аннетту вызвали в участок и отдали ей личные вещи покойного. Едва взглянув на отца — с его лица так и не сошло выражение благородного негодования, — она повернулась к двум ждавшим конца процедуры полицейским: то были ее старые знакомцы Свобода и Равенство. Достала из сумочки три монеты по двадцать су, дала по одной им обоим, а третью положила на стол со словами:

— Это для Братства.

И ушла.

В тот же вечер — дело было в мае, когда в воздухе разлита такая нежность и легкость, что хочется танцевать, — к Аннетте на ее рабочем месте, на улице, подошел некий молодой апаш[9] по прозвищу Рене Вальс; в квартале его почитали святым, казалось, он избрал главным делом

---

[9] Примечания: 9

Апаши — налетчики, грабители, входившие в преступные группировки Парижа в конце XIX — начале XX в.

жизни доставлять другим удовольствие, из-за чего и подорвал свое здоровье. Рене Вальс болел чахоткой, однако это не мешало ему быть чуть ли не лучшим танцором явы на всю улицу Жир. С цветком в зубах и в кепке набекрень он мог отплясывать часами, а потом без сил садился на тротуар, сипло, с присвистом дышал, как астматик, и печально шептал: “Доктор говорит, мне нельзя танцевать. При моей хвори вредно”. Но стоило снова запеть аккордеону, как он резво вскакивал, подпрыгивал, прищелкнув каблуками, устремлялся на площадку и танцевал до самого рассвета или пока сильнейший приступ кашля не заставлял его остановиться и согнуться посреди очередного тура.

Аннетта, завидев его, всегда радостно улыбалась, он был похож на птицу. Едва дожив до двадцати пяти лет, эта птица упорхнула навсегда, и аккордеон с тех пор никогда больше не звучал, как прежде. Итак, в тот вечер к Аннетте подошел, точнее, подлетел разгоряченный Рене Вальс, но не музыка взволновала его.

— Идем скорей, Аннетта. Тебя хочет видеть месье Лекёр.

Аннетта зажмурилась, прижала руку к груди и мгновение спустя расцеловала Рене Вальса в

обе щеки: она знала, знала, что когда-нибудь ей улыбнется счастье. Пусть это еще не префект полиции, не римский папа и не правительство, но человек, призывавший ее, был очень крупной фигурой в тогдашнем обществе.

Альфонс Лекёр находился в то время в апогее славы. Тот, кого позднее комиссар Маньен в своих мемуарах удостоит титула “самого отпетого мерзавца в Париже”, начал свою карьеру сутенером в районе Бастилии и постепенно расширял сферу своей деятельности, — по мнению комиссара Маньена, он дошел до того, что прибрал к рукам весь рынок опиума в Париже, а количество работавших на него женщин в 1885 году приближалось к пяти сотням. Сумей он обуздать свои амбиции и удовольствоваться ролью короля преступного мира, он бы, возможно, умер богатым и всеми уважаемым человеком. Лекёр проигрывал целые состояния в самых роскошных столичных казино, устраивал пышные приемы в своем особняке в Маре, содержал конюшню беговых лошадей и отличных боксеров, в том числе знаменитого Аргутена, который в 1887 году нокаутировал самого Джека Сильвера; на его матчи Лекёр приходил в компании друзей — английских лордов и молодых светских львов, те и другие не брезговали

обществом проходимца, раз он умел красиво жить и сорить деньгами. Полиция вела себя с ним крайне осмотрительно, ведь было известно, что он способен шантажировать самых влиятельных лиц Третьей республики, в то время только набиравшейся сил и опыта в искусстве коррупции, которое обеспечило ей столь долгие годы существования. Маньен уверенно рассказывает, что, возносясь от сточной канавы в Бастилии в верхи парижского общества, Лекёр отделался по меньшей мере от дюжины соперников, ловко орудуя ножом, который всегда носил при себе под безукоризненным английским пиджаком. Он был могучего сложения, плечистый, как зуав у моста Альма[10]; обладал телом гиганта и массивной головой крупной лепки. Кирпичного цвета щеки, густые брови и параллельные им черные усы вразлет, перечеркивавшие лицо; пристальный взгляд горящих странным, темным блеском глаз с расширенными зрачками. Одевался он причудливо, например, носил костюм спортивного покроя по последней британской моде в черно-коричневую клетку и малиновый парчовый жилет со свисающей из кармашка золотой цепочкой,

[10] Примечания: 10

Намек на статую скульптора Жоржа Дьеболя “Зуав” у моста Альма в Париже, изображающую пехотинца французских колониальных войск.

галстук закалывал булавкой с бриллиантом, на палец надевал перстень с рубином и в таком виде разъезжал в своей карете по бульварам. Коричневая шляпа-котелок набекрень, руки сложены на трости с золотым набалдашником, сигара во рту — он сидел насупившись и временами смотрел по сторонам сумрачным взором. При нем всегда неотлучно находился бывший ирландский жокей, невысокий человечек, казавшийся совсем плюгавым рядом с верзилой Лекёром; звали его Саппер, но парижские блатные переделали это имя на свой лад, получилось длиннее, но веселее: Саперлипопет[11]. У него была унылая вытянутая физиономия с вечной гримасой не то укора, не то скорби и мутно-голубыми глазками. Голову он всегда держал криво, и повернуть ее мог не иначе как повернувшись всем телом. Когда-то он считался одним из лучших жокеев Англии, пока однажды не свернул себе шею во время больших скачек на Венсенском ипподроме. Лекёр приютил его, возможно, потакая своей все разраставшейся мании величия: соседство кособокого малютки жокея делало еще внушительнее и без того немалый рост апаша.

---

[11] Примечания: 11

Бранное словечко, выражающее досаду (от *франц.* saperlipopette).

Эти двое и разглядывали теперь Аннетту в свете фонаря на улице Жир, один — мрачно дымя сигарой, другой — склонив голову набок, как любопытная грустная птица, и оба молчали; Рене Вальс, с кепкой в руке, почтительно держался в тени. Лишь много позже Аннетта узнала, что заставило Альфонса Лекёра заинтересоваться ею. Профессионалы давно заметили ее исключительную красоту и естественную грацию, но для того, что замыслил Лекёр, одной красоты было мало. Требовались еще живой ум, способность быстро учиться и усваивать, честолюбие и отвага. А дело было в том, что как раз в тот момент в деятельности Лекёра произошел неожиданный и резкий поворот. Его одолевала неутолимая страсть к могуществу, которую лишь распаляли все его успехи. Десять лет владычества в преступном мире, страх, который он всем внушал, связи в полиции и лесть прихлебателей вскружили ему голову, он возомнил, что рожден для великих свершений и стоит неизмеримо выше простых смертных, — словом, что он сверхчеловек, но до сих пор не смог как следует применить свои дарования. Он был не слишком умен, не прочитал за всю жизнь ни одной книги и потому благосклонно прислушивался к удобным демагогическим

оправданиям своих преступных деяний и уверениям, что на самом деле он настоящий идеалист, но сам того не знает. Лекёр и так не сомневался в том, что он великий человек, но не подозревал, что вся его бандитская карьера — не что иное, как бурный и непрестанный протест против существующего строя; не знал, что он анархист, реформатор, и часами, не выпуская изо рта сигару, завороженно слушал голос, чрезвычайно убедительно растолковывавший ему, в чем истинная цель и смысл его жизни; упоительный голос воспевал ненависть и могущество, разрушение и возмездие; он, Лекёр, потому нарушал закон, что ненавидел любое насилие общества над личностью, любой механизм принуждения: потому совершал преступления, что хотел отплатить буржуазии, угнетающей трудящихся, той же монетой, поскольку это единственная доступная ему форма сопротивления.

Все свидетельства современников гласят, что именно такой магнетической силой обладал голос Армана Дени. Вот что пишет чемпион по шахматам Гуревич, в молодости примыкавший к анархистскому движению, в своей книге “Воспоминания шахматной доски”:

Голос мужественный, звучный, он не столько убеждал вас вескими аргументами, сколько чисто физически заражал и покорял. Так что вам самим хотелось соглашаться с ним. Прибавьте к этому незаурядную внешность – такая под стать наполеоновским маршалам: буйные кудри, пламенные черные глаза, высокий лоб, чуть приплюснутый, похожий на кошачий, нос; от него исходила какая-то непререкаемая животная сила, так что воздействие его на окружающих казалось чем-то обусловленным самой природой; к несчастью, XX век явил множество примеров подобным образом одаренных личностей. Я слышал, что говорил о нем Кропоткин после их встречи в Лондоне: “Это неистовая натура, и я не знаю, отдает ли он свою страсть на службу нашим идеям или, наоборот, наши идеи – на потребу своей страсти”.

Арман Дени был сыном богатого торговца сукном из Руана. Он рос очень набожным, пылко верующим юношей, что, скорее всего, не вязалось с образом жизни его семьи, превыше всего ста-

вившей деньги, и пошел учиться в иезуитский коллеж в Лизьё, где поражал учителей ярко выраженным духовным призванием, блестящим умом и удивительным ораторским даром. После коллежа его послали в семинарию в Париж, и там вера оставила его, точнее, перекинулась на другой, противоположный религии предмет, но осталась столь же ревностной. Он сам напишет в книге “Мятежная пора”, что его резко отвратили от веры и придали решимость бороться со злом, не дожидаясь Страшного суда, не столько прочитанные книги, сколько зрелище бедных кварталов столицы, где царит нищета и несправедливость, притом что правящая буржуазия равнодушна к бедственному положению народа, которое усугубляется ужасами промышленной революции. И он стал служить благу человечества так же яростно и непреклонно, как инквизиция служила Господу Богу.

> Он принадлежал к тем людям, – говорит Гуревич, – которые одержимы жаждой абсолюта, по сути несовместимой с жизнью. Они гневно восстают против всех и всяческих ограничений: моральных, интеллектуальных, исторических и даже

биологических, которыми обременен человеческий удел. Их бунт сродни прекрасному гимну, а философия подлинно поэтична, и к ним отлично подходит знаменитое высказывание Горького о “лирических клоунах, исполняющих свой номер на арене капиталистического цирка”. Их диалектический экстремизм подчас доходит до абсурда, и я припоминаю типичный случай такого рода. Арман Дени, я убедился в этом сам, превосходно играл в шахматы, но однажды в моем присутствии обозвал эту игру “никчемной” и вообще дошел до того, что объявил ее изобретением халдейских жрецов, призванным отвлечь мыслительные способности народа на пустые игры и таким образом помешать ему думать о реальных вещах и приходить к опасным для власть имущих выводам.

Он порвал с христианством весьма театрально и проделал это с таким ожесточением, какое сопутствовало всем крутым поворотам на его пути великого анархиста.

Однажды в воскресенье, когда толпа верующих

ждала в церкви появления отца Арделя — послушать его проповеди сбегался весь Париж, — на кафедру взошел молодой человек с невероятно красивым мужественным лицом, в котором свет боролся с мраком, подался вперед, на миг застыл, как подстерегающий добычу зверь; публика мгновенно поддалась его притягательной силе и, затаив дыхание, благоговейно ждала, чтобы из его уст полились божественные откровения. Представьте же себе их изумление, когда юноша внезапно вскинул руку и потряс над головой дохлой крысой, которую держал за хвост.

— Смотрите, Бог умер! — закричал он, и неистовой веры в его голосе было больше, чем простого богохульства. — Бог умер! Вставайте, люди доброй воли, воспряньте из тьмы! Вставайте на борьбу за лучшую долю здесь, на земле, за братство и разум!

Средний доход собравшихся в церкви “людей доброй воли” равнялся примерно пяти тысячам золотых франков в год. “Еще прежде, чем кощунника задержала полиция, его изрядно потрепала толпа”, — писала газета “Журналь-де-деба”.

Армана Дени несколько месяцев продержали в лечебнице Святой Анны, поскольку было несомненно, что устроить такое безобразие мог

только душевнобольной. Он воспользовался пребыванием там для разработки теории — позднее ее присвоили некоторые ученики Фрейда, — которая объясняла большую часть психических расстройств порабощением “человеческой личности” и вопиющим противоречием между естественными устремлениями человека и препятствиями, которые ставит на их пути общество[12]. Кропоткин зашел еще дальше: он утверждал, опираясь на выводы некоторых современных ему натуралистов, что агрессивность диких животных не врожденная, а приобретенная под действием голода и вынужденной борьбы за жизнь. В архивах полиции имя Армана Дени появляется первый раз в 1884 году с довольно комичной, если подумать о том, сколько убийств он уже успел совершить, пометкой: “Держать под надзором!” В то время он жил где-то в парижских трущобах вместе с неким Кёнигштейном, более известным впоследствии как Равашоль[13], Дека-

[12] Примечания: 12

Эта теория изложена в статье, опубликованной в газете “Ревю анаршист” от 20 марта 1882 г. под псевдонимом Люка Дюваль. *(Прим. автора.)*

[13] Примечания: 13

Равашоль (наст. имя Франсуа Клавдий Кёнигштейн, 1859–1892) — французский анархист, казненный за совершенные им политические убийства.

ном и Дардаром, которые семь лет спустя взорвут дом советника Бенуа, председателя первого во Франции суда над анархистами, устроенного после демонстрации в Клиши. Арман Дени считал преступников жертвами и врагами общества, а следовательно, своими естественными союзниками. Преступные наклонности он рассматривал как результат угнетения и классовой эксплуатации и говорил, что преступники — это “идеалисты-левши”, — выражение, ставшее крылатым. Он был очень умен, умел пускать в ход хитрость и демагогию, оправдываясь великой целью, и не исключено, что вполне сознательно морочил головы бандитам, когда распинался перед ними в публичных домах и объяснял, что преступление — это их способ протеста против социального строя, основанного на несправедливости и эксплуатации. Они слушали развесив уши и даже чувствовали себя польщенными; голос Армана Дени оказывал на них такое магическое действие, что, не понимая ни словечка из его речей, они с ним соглашались; проститутки заливались горючими слезами, когда этот парень, писаный красавец, называл их товарищами по борьбе и жертвами общества, где “деньги решают все, армия убивает своих, религия благословляет убийц,

а полиция омывает трупы”. И так велика была сила его красноречия, что уголовники уходили из кабака, полные решимости превзойти в злодеяниях самих себя, переглядывались с умным видом, кивали и говорили: “Он прав”, — хотя вряд ли могли бы повторить, что он им говорил. Комиссар Маньен рассказывает, что из-за проповедей Армана Дени в кабаках и борделях преступность в столице увеличилась настолько, что у полиции опускались руки; молодой анархист, несомненно, обладал даром *leadership*[14], который в XX веке сделал бы его выдающимся общественным деятелем. Леди Л. всегда думала, что Арман родился слишком рано.

Но один человек особенно чутко внимал Арману Дени, часами слушал его и мечтательно взирал на него своим сумрачным взглядом. Это был Альфонс Лекёр. Слова юноши-анархиста давали пищу его мании величия, все усугублявшейся из-за известной болезни, он находил в них оправдание и хвалу, которых так жаждал. Каждое слово ложилось на душу, каждая фраза попадала в яблочко; слушая этот голос, бесстрастный с виду апаш, жующий потухшую сигару и поигрываю-

[14] Примечания: 14
Лидерство *(англ.).*

щий золотой цепочкой, видел себя на трибуне, под черными знаменами, перед ликующими толпами. Да, да, это он заклятый враг общества, он избран судьбой, чтоб стать кумиром благодарных масс, а сутенером, шантажистом, убийцей, в конце концов, королем преступного мира он стал лишь для того, чтобы еще больше подорвать и без того расшатанные устои существующего строя. Он ненавидел богачей, угнетавших народ, да он и сам был из народа!

Жокей в клетчатой кепке, со свернутой набок башкой и унылой рожей всегда сидел рядом, поглядывая на своего спутника голубыми глазами под изломанными, как у Пьеро, бровями.

Решающая встреча Армана Дени с Лекёром произошла в игорном доме некой баронессы де Шамисс в ночь после ограбления банка Жюльен на улице Итальянцев; тяжело раненный кассир сумел подробно описать приметы нападавших, так что участие в деле Армана Дени было точно доказано. Баронесса, сомнительная особа с густо накрашенным, а потому похожим на гипсовую маску лицом и подслеповатыми глазками, глядящими сквозь черепаховый лорнет, впустила в маленький салон позади игорного зала Армана, а вскоре туда же зашел Лекёр, все еще держа в руке

стопку наполеондоров. Арман Дени знал: если этот человек не возьмет его под свое надежное покровительство, ареста не миновать. Улизнуть незамеченным не удастся. Кто видел его однажды, никогда не забудет; красота юного революционера была изъяном, всю жизнь вредившим его работе. С другой стороны, многие искали объяснение безграничной власти, которую Арман Дени заполучил над Лекёром, в каких-то скрытых гомосексуальных наклонностях этого бандита. Так или иначе, но самый опасный человек во всем Париже, который подкупал полицию и шантажировал членов правительства, становился совершенно безоружным перед автором “Мятежной поры”; и ни чудовищное честолюбие, ни стремление к могуществу, ни даже глупость не могли в полной мере объяснить неотступное желание Лекёра быть все время вместе с Дени и странное влияние, которое тот имел на него. Итак, он стоял посреди салона с желтой обивкой, поигрывая золотыми монетами и не сводя горячечного взгляда со своего искусителя. Похоже, он и правда не столько слушал, сколько смотрел, и поддавался не столько словам, сколько произносившему их голосу.

— Наступил решительный миг. Ты должен

прямо сейчас сказать, хочешь ли ты до конца своих дней оставаться тем, кто ты есть теперь, или пойти гораздо дальше, вознестись гораздо выше, показать всему миру свое истинное лицо. Ведь никому не ведомо, каков ты на самом деле, никто не понимает сути твоего бунта против установленного порядка. Ты для всех просто скотина, грязное и опасное животное, которое приходится ублажать, только и всего. Спрашиваю тебя в последний раз: ты хочешь действительно прославиться? Хочешь войти в историю человечества наряду с величайшими людьми? Хочешь обессмертить свое имя? Хочешь, чтобы угнетенные народные массы обратили свой взор на тебя, чтобы они повторяли твое имя и чтобы этот ропот превратился в торжественную песнь, эхо которой будет вечно звучать в новом, свободном мире?

Лекёр по-прежнему стоял как вкопанный в желтом салоне и сжимал в руке монеты, кровь бросилась ему в лицо, он побагровел, и на лице его отразилась заносчивость, граничащая с безумием. “Бедный Альфонс, — подумала леди Л., — он тоже родился слишком рано. Ему бы жить во времена Шлагетеров, Хорстов Весселей, Рудольфов Хёссов, Муссолини и Гитлеров, когда орды в коричневых и черных рубашках

маршировали в сапогах по всей Европе". В конце концов, будущий властитель Италии в юности сам перевел "Речи бунтовщика" Кропоткина и заявил, что эта книга князя-анархиста написана "с огромной любовью к угнетенному человечеству и исполнена доброты".

Вероятно, в Альфонсе Лекёре и была та смесь гомосексуальности и любви к грубой силе, которая привлекла к фашистскому движению лучших его сторонников. Однако возможно также, что он и правда желал, пусть не совсем осознанно, втайне от самого себя, найти оправдание своим преступлениям и смысл своей разрушительной деятельности. Как бы то ни было, несомненно одно: он не мог обходиться без Армана Дени и становился угрюмым и раздражительным, если не видел его несколько дней. В тот вечер в заведении баронессы де Шамисс он слушал искусительные речи Армана молча, а когда тот замолк, еще минуту смотрел на него, потом побренчал монетами, повернулся к нему спиной и ушел в игорный зал. Арман Дени выиграл партию, хотя, скорее всего, так и не понял до конца, в силу какого сочетания причин бывший апаш оказался в полной зависимости от него. В скором времени дюжий Лекёр с неизменной сигарой во

рту и рубиновым перстнем на руке, одетый по последней английской моде и в сопровождении перекошенного жокея, стал завсегдатаем чердачных “учебных” собраний и слушал объяснения тщедушного провизора с нежным личиком: как в домашних условиях делать бомбы из компонентов, которые продаются в любой аптеке.

Состав этой первой анархистской ячейки был весьма причудливым: шарманщик, всегда являвшийся со своей обезьяной; месье Пупар, писарь в Министерстве иностранных дел, который всю жизнь заполнял дипломатические паспорта: делал своим каллиграфическим почерком записи, которые потом переносились на веленевую бумагу; Виолетта Саль, школьная учительница литературы и автор пламенных статей в “Пер Пенар”[15], подписанных псевдонимом Адриан Дюран; испанец Иррудин, который впоследствии прославился благодаря книге Кристофа Салеса. Альфонс Лекёр рассеянно смотрел на эту пеструю компанию и только с Армана Дени не спускал черных-пречерных глаз с расширившимися зрачками. Жокей всегда держался рядом с ним, и из-за свернутой набок головы казалось, что он

[15] Примечания: 15

“Пер Пенар” (“Père Peinard”) — радикальная анархистская газета Эмиля Пуже, издававшаяся во Франции в 1889–1902 гг.

все время скептически поглядывает на все и на всех. Однажды Альфонс Лекёр, решив попробовать себя в ораторском искусстве, провозгласил, указывая пальцем на Саппера:

— Посмотрите на него! Он свернул себе шею на службе у английского лорда, который тотчас бросил его, как дохлую собаку. Отомстим за него!

Двадцать пятого мая 1885 года на почетной трибуне Венсенского ипподрома разорвалась бомба, три владельца конюшен и один венгерский тренер были тяжело ранены, серые цилиндры пострадавших разлетелись в разные стороны. Во всеобщей панике никто не обратил внимания на низенького человечка с печальным лицом, который спокойно отделился от толпы, подобрал один цилиндр и удалился с этим трофеем. А минуту спустя желтый фаэтон уже увозил в город Альфонса Лекёра, Армана и сидящего напротив них с изящным цилиндром на коленях жокея.

— Мог бы чуток повременить, моя лошадь была у самого финиша! — вынув сигару изо рта, упрекнул Лекёр своего приятеля-коротышку.

В то время никто еще не подозревал о тесных связях владельца лучших публичных домов Парижа с анархистскими кругами, и долгое время его не трогали. Полиция была уверена, что хоро-

шо знает Лекёра как своего человека, знает, что он — часть устоявшейся системы. Трудно было заподозрить, чтобы преступник в апогее славы, имеющий поддержку в высших слоях общества, увлекся подрывными идеями. Какой ему смысл восставать против порядка, который служит источником его доходов! Но тщеславие и мания величия побуждали его высовываться на первый план. Хоть он пока еще не хвастался открыто своими подвигами, но едва прикрытые намеки, неподобающие политические рассуждения, в которые он пускался на людях и за которыми угадывался более глубокий ум, чем его собственный, очень скоро привлекли к нему внимание. Друзья из высших сфер не раз предостерегали его; сенаторы и министры, которым он помогал удовлетворять их порочные наклонности, проплаченные полицейские постоянно призывали его быть осмотрительнее, но он был слишком уверен в своей власти над ними и отвергал их советы, пренебрежительно пожимая могучими плечами. Он начал вслух называть имена, обличать “гнилых” личностей. И скоро покровители уже не могли прикрывать его. Тщетно Арман Дени, отчетливо видевший опасность, пытался утихомирить своего чудаковатого ученика, кото-

рый тем-то и был ему полезен, что оставался вне подозрений. К этому времени Арман рассорился с анархистским Интернационалом, особенно с его французской частью, так что его даже не включили в состав делегации на Лондонский конгресс 1881 года. Он только что выступил в печати с яростными нападками на имевшего непререкаемый авторитет Кропоткина, потому что русский князь-анархист не одобрил его концепцию “прикладной химии”, согласно которой в данный момент следовало решать самые неотложные задачи и уделять больше внимания “технической” подготовке, то есть искусству мастерить бомбы, а не изучению теории анархизма. Кропоткин также был против привлечения школьников к бомбометанию и назвал “патологической” идею слепых взрывов на улицах с целью посеять панику среди обывателей и создать впечатление, что “друзей народа” гораздо больше и они гораздо сильнее, чем на самом деле. Со своей стороны, Арман Дени упрекал Кропоткина в “буржуазной чувствительности”. “Бомбы и еще раз бомбы”, — настаивал он: пусть люди ясно увидят, что правительство не в состоянии прекратить теракты. Единственное, в чем он был совершенно согласен с Кропоткиным, это

в его знаменитом отрицании теории Дарвина о выживании сильнейших. Кропоткин пришел к дорогому ему заключению, что до того, как человек стал охотиться на животных, разные виды вовсе не враждовали между собой, а, наоборот, жили в мире и при необходимости помогали друг другу. Это забавное возрождение мифа о потерянном рае под пером корифея анархизма всегда умиляло леди Л. И радость князя Кропоткина, когда после нескольких месяцев работы в Британском музее он наконец представил миру свою теорию “естественного братства”, сравнима с веселым удовольствием, которую чтение его трудов до сих пор доставляло леди Л. До чего романтичная душа у милейшего князя!

Бомба, брошенная в кафе “Тортони”, наделала больше шума, чем вреда, зато другая, взорванная в двух шагах от Елисейского дворца во время марша республиканских гвардейцев, убила пять человек и взбудоражила весь Париж. Полиция устроила облавы в злачных местах, и блатной люд почувствовал себя под угрозой. Положение Лекёра стало совсем шатким, хоть он и не желал этого видеть. Пока он оставался уголовным преступником, полиция могла терпеть его и закрывать глаза, поскольку он был элементом отлаженной

системы, теперь же, когда его разрушительные действия имели политический характер, он превратился во врага общества. И наконец на некоем совещании в Министерстве внутренних дел, где ничего не говорилось вслух, но все друг друга понимали, было принято вынужденное решение об аресте Лекёра. О чем немедленно осведомили одного из самых могучих его покровителей, а он, в свою очередь, послал последнее предупреждение своему шантажисту и призвал его как можно скорее покинуть страну. Но даже после этого Альфонс Лекёр не перестал появляться в модных кафе в сопровождении жокея и разъезжать по Булонскому лесу в своей желтой карете. И только после уговоров Армана Дени согласился уехать в Швейцарию.

Как раз тогда основатель газеты “Пер Пенар”, которому надоели отговорки, колебания и сантименты Кропоткина, окончательно порвал с ним. И решил создать независимое движение, направленное на прямое действие, с центром управления за границей, который будет рассылать летучие группы в разные места. Но эти амбициозные планы требовали несметных денег. Предполагалось, что добыть средства для организации и начала деятельности сторонни-

кам “перманентной революции” поможет серия нападений на банки и крупных грабежей. Итак, было решено перебраться в Швейцарию, завершить “сбор средств”, а затем бежать в Италию, где братья Маротти уже подготовили целую сеть исполнителей, а ближайшей и самой значительной жертвой был назначен король Умберто. Швейцария в ту пору служила убежищем для анархистов всей Европы. И вплоть до убийства австрийской императрицы Елизаветы они жили там совершенно свободно, вели дискуссии в местных кофейнях, публиковали свои произведения и помирали с голоду; некий Стойков, сотрудник Вязевского, рассказывает в “Попутчиках”, что все его пропитание за месяц состояло из трех десятков копченых селедок, пяти килограммов хлеба и полутора сотен чашек кофе, тогда как, пишет он, “вокруг, на берегах лазурных озер, было полно спесивых праздных буржуа, а в сейфах скучали их огромные состояния”. Арман видел в этом типичное поведение Кропоткина и его друзей; сам он считал постыдной глупостью и бессилием предоставлять “огромным состояниям” так и валяться по сейфам, а самим довольствоваться копченой селедкой и ничего не предпринимать из-за недостатка средств. Наби-

тые сокровищами виллы по берегам Женевского озера, никогда не знавшие покушений банки с разленившимися и потерявшими бдительность охранниками — это ли не идеальное поле деятельности! Но для осуществления своего плана Арман нуждался в смышленых сообщниках на месте, в узком кругу блестящих баловней судьбы, а таковыми он не располагал. Нужен был кто-то, кто сможет проникнуть в эту вяло взирающую на заснеженные вершины публику, в этот ходячий Готский альманах, и соберет для него точные сведения о привычках, маршрутах и распорядке дня русских, австрийских, немецких и прочих тиранов, которые чувствовали себя в Швейцарии в полной безопасности, потому что вдали от собственного народа им ничто не угрожало. Да, нужен был подходящий, не вызывающий подозрений сообщник, надежный, послушный и податливый инструмент. Он сразу решил, что лучшей картой в такой тонкой игре была бы женщина, очень молодая, очень красивая, которая смогла бы вскружить голову кому угодно, пробудить интерес у самых пресыщенных и не дать ему угаснуть, когда увлечение пройдет, для чего требовались как профессиональные навыки, умение исполнить любую прихоть, так

и незаурядный, волевой характер, способность при любом раскладе сохранять холодную голову. Сказать об Армане Дени, что он не стеснялся в выборе средств, значит сказать слишком мало.

> Экстремист, – как справедливо заметил Дюрбах, – с восторгом прибегает к самым постыдным средствам, это некоторым образом подкрепляет его убеждения; он проливает кровь не только потому, что этого требует правое дело, но и затем, чтобы доказать величие этого дела; в жестокости и мерзости средств, которыми он не гнушается, он видит скрепленное кровью доказательство того, что цель его значительна и священна[16].

Вот в чем причина того, что Аннетту сначала позвали к Альфонсу Лекёру, потом без всяких объяснений привели в некий дом терпимости на улице Фюрси неподалеку от большого рынка Ле-Аль, где жизнь ее изменилась чудесным и решительным образом.

— Мне страшно повезло, — сказала леди Л. — Не будь анархистов, я бы наверняка плохо кончила.

---

[16] Примечания: 16

Дюрбах. Доказательство и кровь. Фрибур, 1937. *(Прим. автора.)*

Я обязана им буквально всем.

Она повернулась к поэту-лауреату, который как-то придушенно захрипел. Он вставил в правый глаз монокль и смотрел на леди Л. с недоверчивым страхом и негодованием.

— Ну-ну, дружочек, — сказала она. — Не надо так волноваться. Вы похожи на моего пекинеса Бонбона, когда его, бедняжку, хватил сердечный приступ. Полно, Перси, это было так давно, шестьдесят три года назад! Со временем, сами знаете, все утрясается. И вообще, все это происходило за границей, а значит, не должно иметь никакого значения, на ваш английский взгляд.

Сэр Перси, всегда такой сдержанный и флегматичный, впервые в жизни потерял самообладание.

— Тысяча чертей! — взревел он. — Тысяча чертей, вот что я вам скажу! Не верю ни единому слову в ваших россказнях! Я… вы…

— Так-то лучше, — сказала леди Л. — Вам бы почаще выходить из себя, милый Перси. Так вас, по крайней мере, заметно. А то иной раз кажется, что вы всю жизнь положили на то, чтобы не бросаться в глаза. В чем, надо сказать, весьма преуспели.

— Боже милостивый, Диана, вы переходите все

границы! Конечно, вы всегда любили скандальные выходки. Не зря Арнольд Беннет говорил, что вы, как все подлинные аристократы, по натуре террористка и шутки ваши — как бомбы…

Он вдруг осекся и ошеломленно уставился на нее: к удовольствию леди Л., слова, которые он произнес, явно разбудили в нем некие ассоциации.

— Продолжайте, продолжайте, — вкрадчиво сказала она. — Ваши мысли принимают любопытный оборот.

Сэр Перси словно что-то судорожно проглотил — возможно, собственные мысли.

— Но в этот раз вы зашли слишком далеко. Да еще и в свой юбилей, когда сама королева прислала вам такое трогательное поздравление! Вы носите одно из самых славных имен в стране, ваша жизнь — открытая для всех книга, образец достоинства, благородства и красоты, и вдруг вы заявляете… намекаете… даете понять…

На лице сэра Перси Родинера было написано такое горестное возмущение, что леди Л. невольно вспомнила и повторила то, что уже говорила в его утешение в сходных обстоятельствах, когда японцы потопили у берегов Сингапура два других достояния империи — военные корабли

“Принс-оф-Уэлс” и “Репалс”:

— Успокойтесь, друг мой. Англия устоит.

— Не трогайте Англию! — снова взвился поэт-лауреат. — И имейте в виду: вам не удастся заставить меня поверить в те ужасы, которые вы о себе рассказываете. Да, шокировать людей — ваша привилегия. Но достаточно открыть “Книгу пэров Бёрка”[17], достаточно взглянуть на портреты ваших предков… Вы урожденная Диана де Буазеринье, в первом замужестве графиня де Камоэнс, один из ваших предков участвовал в битве при Креси…

— Нам стоило большого труда соорудить все эти фальшивки, — сказала леди Л. — Месье Пупар, казенный каллиграф, отлично поработал. Особенно убедительны как раз документы, касающиеся битвы при Креси. Чтобы состарить их, понадобились всякие кислоты. Понимаете, Арман никогда ничего не делал наполовину. Все одержимые химерами идеалисты питают безудержное пристрастие к практическим деталям. Таким образом они соприкасаются с реальностью. Что же касается фамильных портретов, я кое-что расскажу вам о них. Это забавная исто-

[17] Примечания: 17

“Книга пэров Бёрка” (Burke's Peerage) — генеалогический справочник британской аристократии.

рия. Впрочем, в павильоне вы сами убедитесь, что я ничего не выдумываю. Пойдемте. Думаю, вам будет полезно выпить рюмочку коньяку.

Поэт-лауреат промокнул лоб носовым платком.

Предзакатное солнце висело в ветвях каштана огромным спелым плодом и озаряло леди Л. снисходительной улыбкой. В воздухе пахло сиренью, последней в это лето и, возможно, в ее жизни. Но не стоило думать о смерти, это слишком печально. С лужайки, где дети затеяли игру в крокет, раздавались веселые голоса и взрывы смеха.

Глава IV

Заведение на улице Фюрси было довольно низкопробным, визит туда стоил один франк плюс десять су за мыло и полотенце. Три девицы обслуживали клиентов, в основном из числа рыночных “силачей”[18], однако захаживали туда и посетители из высших слоев, чтобы слегка расслабиться, окунувшись в грязь. Одна из девушек носила черные кружевные панталоны до колена и черный корсет, над которым вздымались мощные груди; две другие жертвы общества были одеты в желтую, зеленую и оранжевую кисею, впрочем, “одеты” — не совсем точное слово, так как эти наряды доходили до пупка, а ниже цветовую гамму недурно дополняли черно-синие оттенки. Лица у всех были густо набелены скверной крупитчатой пудрой, которая только подчеркивала рытвины на коже, и все три тупо таращились на сидящего за пианино человека во фраке. Рядом с пианистом стоял другой человек, тоже во фраке, с пистолетом в руке, он бегло взглянул на Аннетту и снова с улыбкой повер-

[18] Примечания: 18
Силачами *(les forts)* называли грузчиков с парижского рынка Ле-Аль.

нулся к музыканту.

Появление Аннетты в заведении совпало с одним из тех экстравагантных подвигов, на которые был горазд Арман Дени; они пленяли воображение и завоевывали симпатию молодежи, не умеющей ни переделать мир, ни спастись от пошлой буржуазии, по-бычьи равнодушной, самодовольной и настолько разжиревшей, что дело начинало попахивать бойней. Музыкант во фраке был не кто иной, как Антон Краевский, величайший пианист того времени.

На другой день все газеты с негодованием рассказывали о вечернем похищении. Виртуоз выступал перед столичной элитой; чтобы попасть на его концерт, зрители заплатили бешеные деньги. И вот, едва он вышел на улицу через потайную дверь, желая улизнуть от ретивых поклонников, как к нему подступил элегантно одетый молодой человек, учтиво поприветствовал его, а затем приставил к его груди пистолет, который прятал под шелковым плащом, усадил в ждавшую неподалеку карету и отвез в один из самых гнусных в городе борделей, а там заставил играть для ошалевших проституток. Когда Аннетта переступила порог, Краевский играл уже час с лишним. Позднее в своих мемуарах он рас-

скажет, как в тот вечер ему пришлось играть на пределе возможностей, потому что Арман Дени оказался тонким знатоком и сурово одергивал пианиста всякий раз, когда тот допускал малейшую небрежность.

— Нет-нет, маэстро! Вы можете лучше. Я, конечно, знаю, что вы выкладываетесь всерьез только перед теми, кто хорошо платит за вашу проституцию, а присутствующие здесь дамы не принадлежат к элите в вашем понимании, однако они куда ценнее той мрази, что обычно приходит на ваши концерты. — Молодой анархист наставил пистолет на Краевского. — Играйте же, маэстро, играйте! Это, можно сказать, ваше первое выступление перед чистой публикой. До сих пор вы служили только паразитам и палачам, так послужите хоть раз их жертвам, угнетенному народу. Ну же, постарайтесь!

Антон Краевский пишет, что возмущение его исчезло без следа при звуках этого проникновенного голоса; его обладатель пытался прикрыть глубокое чувство насмешливым тоном, нельзя было не расслышать в его словах страстное, неистребимое стремление к полной социальной справедливости. И в голосе, и в напряженной, цепкой неподвижности, и в похожей на гриву ше-

велюре, и, главное, в лице Армана, с его несколько хищным выражением, в его глазах, глядящих вызывающе и одновременно призывно, было что-то исключительное, неописуемое, что вызывало в вас чувство вины и желание покаяться в том, что вы всего лишь обычный человек.

Я прекрасно понимаю, почему он внушал такую преданность своим приверженцам – преданность не столько его идеям, сколько лично ему. Этот человек был создан, чтобы ему поклонялись толпы, в другие времена он мог бы без труда повести их за собой на завоевание мира, как Александр Великий, на которого, судя по дошедшим до нас медалям, был в профиль довольно похож. Как бы то ни было, это зрелище – странный человек, держащий меня под прицелом пистолета, девицы с выставленными напоказ, как в мясной лавке, телесами, сам антураж пропахшего абсентом и опилками мерзкого борделя – навсегда запечатлелось в моей памяти. Незадолго до окончания моего "концерта" к нам присоединились двое сообщников Армана Дени: небезызвест-

ный бомбист Саппер, бывший жокей, и один из заправил преступного мира Альфонс Лекёр, которому вскоре предстояло умереть в сумасшедшем доме; его связь с анархистами была по меньшей мере неожиданной. Поясню: о том, кто такие были мои похитители, я узнал, только когда давал показания в полиции. Впрочем, по мнению полиции, Альфонс Лекёр оказался в этом постыдном месте случайно и не имел отношения к произошедшему со мной. С ними еще была невероятно красивая белокурая девушка, лет шестнадцати-семнадцати, не больше. Красота ее совершенно меня поразила, быть может, по контрасту с отвратительным местом и его несчастными обитательницами. Кто она, откуда взялась и зачем пришла, осталось мне неизвестным. Полицейские ничего о ней не знали, и мои восторженные описания прекрасной незнакомки лишь вызывали у них глумливые ухмылки[19].

[19] Примечания: 19

Антон Краевский. Моя жизнь в искусстве. Лондон, 1892. *(Прим. автора.)*

В ту пору карьера Краевского близилась к завершению, но, по его собственному признанию, никогда не играл он так вдохновенно, как в тот вечер. “То была дань уважения идеалу, который жил в душе этого человека, — пишет польский пианист и добавляет, уступая дурному пристрастию к фиоритурам, которое леди Л. нередко обнаруживала в его исполнительской манере, — идеалу, который, разбушевавшись, грозит испепелить весь мир”.

Подобных подвигов Арман Дени совершал немало. Может, и правда в них проявлялся “буржуазный романтизм”, в каком упрекал его Кропоткин, однако леди Л. видела в этой любви ко всему эффектному, театральному новый для того времени стиль пропаганды, который расцветет в XX веке. “Овладение массами” — единственная цель, к которой наступающая эпоха будет стремиться во всех областях, — не может быть достигнута только силой идей, и необходимым оружием грядущих великих начинаний должны будут стать актерский и режиссерский талант, а также демагогия, украшенная блеском мысли, души и воображения. Франция всегда опережала другие страны, и трагедия Армана Дени заключалась в том, что он явился раньше времени.

О том, что молодой идеалист не импровизировал спонтанно, а действовал по продуманному плану, свидетельствует приключение итальянского дирижера Серафини. Почтенный маэстро был похищен по пути в Оперу, где публика напрасно прождала его целый вечер; Арман и Фелисьен Лешан отвезли его в ночлежку на берегу канала Сен-Мартен, набитую вшивыми, храпящими и галдящими пьянчугами и нищими. Там его попросили дирижировать воображаемым оркестром, и целых два часа синьор Серафини, превратившись в марионетку, стоял во фраке и размахивал палочкой, а жуткая аудитория аплодировала и наслаждалась этой пантомимой, не давая времени несчастному маэстро ни передохнуть, ни стереть пот, струившийся с перекошенного от страха лица. Надо сказать, Арман Дени питал глубочайшую идейную ненависть к музыке, поэзии и вообще к искусству прежде всего потому, что оно обращено только к избранным, а еще потому, что любые поиски прекрасного казались ему оскорблением народа, поскольку не укладывались в борьбу за его освобождение.

Альфонс Лекёр что-то шепнул Арману Дени, и тот поманил за собой Аннетту, едва взглянув на нее. Она же… При воспоминании об этой сцене

у леди Л. до сих пор начинало бешено биться сердце и перехватывало горло, как в тот вечер, когда на нее вдруг обрушилась сильнейшая, непреодолимая страсть. Тогда-то в ней впервые проснулось властное, тираническое чувство, всю пагубность которого она познала и оценила гораздо позднее. Ее всегда приводила в смятение красота — в природе, в людях и в вещах — и мучила мысль о ее мимолетности и бренности; ей хотелось продлить, удержать ее, и эта потребность обернулась неистовой, безоговорочной, отчаянной жаждой обладания. Глядя на Армана, она всякий раз с горечью думала, что он с минуты на минуту отвернется, уйдет, покинет ее; что несказанная, бездонная радость, какая охватывала ее, когда она ощущала его в себе, не может длиться, что ее счастье эфемерно и непрочно, притом что эти быстротечные мгновения — единственный отпущенный ей в жизни глоток вечности. Проснувшаяся в ней жажда обладания была так сильна, что ради утоления ее она заранее согласилась безропотно всему подчиняться.

— Думаю, я тогда еще была типичной буржуазной девчонкой, — сказала леди Л.

По узкой спиральной лестнице они с Арманом поднялись в комнату на четвертом этаже,

где он впервые с ней заговорил, и уже тогда ей были не важны слова, достаточно было видеть его и слышать его голос. Тем не менее она была уверена, что даже сегодня сумеет восстановить, украсив оттенком нежной иронии, практически всё, что он тогда твердил ей под аккомпанемент доносившихся снизу аккордов Листа; ошибка исключалась — она ведь так хорошо изучила его, что запросто могла бы приписать еще одну, заключительную главу к его “Трактату об анархии”.

— Искусству еще не время. Оторванное от реальности понятие прекрасного в корне реакционно: вместо того чтобы врачевать раны, оно их прикрывает. Достаточно пройтись по нашим музеям, чтобы увидеть всю степень лживости и пособничества художников: все эти превосходные натюрморты с роскошными фруктами, устрицами, отборным мясом и дичью — плевок в лицо всем тем, кто умирает от голода в двух шагах от Лувра. Нет такой оперы, где можно услышать эхо народных горестей и устремлений. Поэты толкуют о душе, и их не вдохновляет хлеб насущный. Церковь теряет влияние — и вот втихомолку торговцам опиума готовят другую площадку — музеи.

Это была его любимая песня все те годы, что они прожили вместе, и главная причина, по которой леди Л. так любовно собирала произведения искусства, — нет, не в пику Арману, а с той самой нежной иронией. Надо было слегка наказать его: еще один Рафаэль, еще один Рубенс, Веласкес, Эль Греко; в делах сердечных не бывает мелких выигрышей. В конце концов Арман стал представляться ей этаким художником наизнанку, который добивается от реальности того, что способно дать лишь искусство: совершенства. Разрушить установленный порядок он хотел потому, что питал к нему такую же ненависть, какую внушает официальная живопись поборникам нового, свободного искусства. Анархизм — своего рода фовистский период в идеализме. Неудачи и разочарования вполне естественным образом толкнули некоторых анархистов к фашизму: одних привело стремление наконец полностью овладеть неподатливым человеческим материалом, других — недостаток таланта. Но до всего этого было еще далеко, а пока, в той тесной комнатушке, на Аннетту обрушилась вся сила неистового темперамента и гипнотического взгляда Армана Дени.

— В восемнадцатом веке с такой внешно-

стью и умом, — сказала леди Л., — он стал бы непревзойденным шарлатаном и переплюнул Калиостро, Казанову и Сен-Жермена. К сожалению, рациональный век миновал, поэтому он стал идеалистом. Угораздило меня нарваться — хуже некуда.

Сэр Перси сидел рядом с ней на мраморной скамье в конце аллеи, около тропинки, ведущей в павильон. Упершись обеими руками в набалдашник трости, он мрачно смотрел себе под ноги. Ничего подобного он не испытывал с тех пор, как Маунтбеттен, последний вице-король, покинул Индию. Он был не просто возмущен — его обуял ледяной ужас. А радостные возгласы детишек на лужайке только подчеркивали несуразность того, что заставляла его выслушивать их прабабушка.

— И что же дальше? — угрюмо осведомился он. — Что было потом?

Леди Л. подавила улыбку. Бедный Перси, он весь в этом вопросе. Надо, пожалуй, пощадить его.

— Ну, мы проболтали всю ночь, — милостиво сказала она.

Сэр Перси облегченно вздохнул и первый раз за все время изобразил нечто похожее на одобрительный кивок.

Аннетта очень скоро поняла, с кем имеет дело: стоило Арману заговорить о свободе и равенстве в компании со справедливостью и убийством, о любви к народу и разрушении, о человеческом достоинстве и бомбах, брошенных в толпу случайных прохожих, она узнала знакомую музыку, все это ей уже приходилось слышать. Вот только голос был другой, и отличался он разительно. Теории, которые бесили ее, когда исходили из отцовских уст, казались прекрасными и благородными, когда звучали так проникновенно, мужественно и уверенно. Она сообразила, кем видит ее революционер, и пустила в ход всю свою женскую ловкость и природную интуицию, чтобы соответствовать его представлению: выглядеть жертвой порочного общества, униженной и оскорбленной душой, только и мечтающей примкнуть к восстанию, бороться бок о бок с ним самим и его друзьями. Арман Дени был лучшим и прекраснейшим из всего, что она видела в жизни, не могла же она упустить такое счастье. Она поведала Арману, что ее отец отдал жизнь за анархистские идеалы. Да-да, а ей самой еще не было и двенадцати лет, когда она начала помогать ему: разносить крамольные памфлеты в корзине с бельем. Она врала так вдохновенно и вошла в

роль так легко, что сама почти поверила в свою ложь, и когда через несколько недель после знакомства отвела Армана на могилу месье Будена, то вполне искренно оплакивала потерю отца.

В гостиную они вернулись только в шесть утра; Краевский спал, уронив голову на клавиши, а жокей сидел на зеленом плюшевом диване с закрытыми глазами: голова набок, руки скрещены на груди, пистолет на коленях. Лекёр храпел в кресле. Девочек не было. Арман разбудил пианиста и учтиво проводил его в гостиницу. Перед уходом маэстро восхищенно взглянул на Аннетту, поклонился ей и сказал:

— Никогда больше мне не выпадет счастье играть перед воплощением красоты и изящества.

То же самое он не без самодовольства повторил, когда описывал эту историю в своих мемуарах.

Краевский ошибался.

Несколько лет спустя, после концерта, который он давал в Глендейл-хаусе на приеме в честь визита принца Уэльского, он сидел за столом слева от хозяйки дома. И не узнал ее, что несколько задело леди Л.

Не теряя времени, Арман Дени объяснил своей новой соратнице, чего ждет от нее освободительное движение: она должна служить приманкой

и наводчицей. Братья нуждались в услугах, оказать которые могла бы только красивая, умная и преданная общему делу молодая женщина. Комитет прямого действия существовал лишь на средства Альфонса Лекёра, то есть на прибыль от публичных домов, которые он содержал, и от игорного салона в квартале Сен-Жермен. Но по настоянию своих покровителей он собирался покинуть страну и потому спешно сворачивал этот свой бизнес. Скорее всего, организации придется обосноваться в Швейцарии, что, впрочем, позволит ей взять в свои руки разрозненные идеологические течения внутри Интернационала и особенно приструнить русских уклонистов — уж очень они деликатны, а все из-за влияния на эмигрантов трусоватого Кропоткина. Арман собирался “доказать движение движением”[20], то есть показать “пустомелям” и “византийцам”, что он единственный, кто по-настоящему действует и добивается ощутимых результатов. В Женеве Аннетта должна была под видом безутешной молодой вдовы втереться в среду богатых бездельников, которые наслаждаются жизнью на

[20] Примечания: 20

По легенде, когда древнегреческий философ Зенон отрицал существование движения, Диоген Лаэртский принимался расхаживать перед ним взад-вперед в доказательство того, что движение существует.

берегах озера, и добыть все необходимые сведения для готовящихся покушений, в частности, на Михаила Болгарского, которого в то время особенно ненавидели славянские анархисты, тогда как Кропоткин считал его незначительной фигурой и не желал участвовать в этой акции. Осуществить этот акт должен был некий болгарский товарищ, но он был простым исполнителем, а всю организацию взял на себя Комитет прямого действия.

Сэр Перси, шедший по аллее позади леди Л., остановился и отпустил бранное словечко, которое сделало бы честь ломовому извозчику.

Леди Л. вздернула брови, обернулась и одобрительно сказала:

— Ну-ну, друг мой, вы делаете успехи!

– *Balls, balls, balls!* — трижды выкрикнул поэт-лауреат. — Вы хотите, чтобы я поверил, будто вы замешаны в убийстве Михаила Болгарского, который, как вам известно, был кузеном наших Меримаунтов? Не станете же вы говорить, что как-то причастны к цареубийству?

— Что значит “как-то”? Еще как причастна, друг мой. В полной мере! И уверяю вас, я была тогда счастливейшей из женщин.

Ей было жаль удручать сэра Перси. Бедная Англия и так уже всего лишилась, не жестоко ли

взять и разбить образ последней, какая у него еще оставалась, знатной дамы! Это уже не терроризм, а кое-что похуже — вандализм. Но Перси надо было потихоньку приготовить к ужасной правде, которую она собиралась ему открыть.

— Вам прекрасно известно, Диана, что князя Михаила убил в Женеве болгарский студент.

Леди Л. кивнула:

— Да, все прошло успешно. Мы очень тщательно подготовили акцию.

— Кто это “мы”? — взревел сэр Перси Родинер.

— Арман, Альфонс, жокей и я. Кто же еще? И пожалуйста, не орите так громко, Перси, что за манеры!

— Тысяча чер… — Поэт-лауреат вовремя спохватился и застыл посреди аллеи, подняв трость, как будто увидел перед собой кобру и собирался огреть ее по голове.

— Помилуйте, ваш старший внук министр! — снова завопил он. — Джеймс заседает в совете Английского банка, Энтони скоро станет епископом! А вы хотите, чтобы я поверил, будто их бабушка, одна из самых почитаемых в обществе дам, чьи портреты работы Больдини, Уистлера и Сарджента висят в постоянной экспозиции Королевской академии, та самая леди, которая нынче

утром получила поздравительную телеграмму от королевы Елизаветы, — чтобы она — она! — была замешана в цареубийстве?

— Поздравительная телеграмма тут совершенно ни при чем, — сказала леди Л. — И вы не обязаны это им рассказывать. Пусть все останется между нами. Хотя досадно… То-то была бы потеха!

Разъяренный Перси со свистом втянул воздух.

— Диана, — сказал он, — я знаю, что вы любите меня подразнить. Это у вас любимый вид спорта, особенно с тех пор, как вы больше не ездите верхом. Но я требую, чтобы вы ответили мне прямо: вы действительно причастны к убийству кузена Меримаунтов, которые, как вам известно, в родстве с королевской семьей?

— Разумеется, — твердо сказала леди Л. — И, уверяю вас, мы отнеслись к делу со всей серьезностью, устроили все наилучшим образом. Убийца Товаров, круглый дурак, но полный благих намерений, целую неделю сидел взаперти в номере гостиницы и ждал наших распоряжений, поглаживая свой кинжал, дрожа от нетерпения и бормоча пылкие клятвы; образцовый был идеалист, мечтал о всеобщем братстве, самый подходящий тип для убийства, но приходилось

все ему готовить, как ребенку. Я вызнала у графа Райтлиха, в котором часу князь Михаил покинет гостиницу, чтобы ехать на обед в посольство, и меня, помнится, так трясло — это был первый раз, когда что-то делалось по моей наводке, — что я даже зашла в церковь поставить свечку Пресвятой Деве, чтобы все прошло хорошо. А потом бегом вернулась в отель “Берг”, где Арман снял роскошный номер; все трое уже вышли на балкон, чтобы смотреть на убийство в бинокль. Я сильно опоздала, все чуть было не началось без меня. Примчалась, тоже устроилась на балконе и велела принести мне чаю с засахаренными каштанами — там подавали лучшие в Швейцарии засахаренные каштаны; прошло, мне показалось, несколько часов, а на самом деле — несколько минут, прежде чем князь Михаил вышел из подъезда и сел в свою карету; в тот же миг из толпы выскочил Товаров и всадил кинжал прямо в сердце регенту. Удар, еще удар, тоже в сердце, но он и дальше продолжал гвоздить его кинжалом — вы не находите, что это очень по-болгарски? Надо сказать, Михаил у себя в стране вел себя как скотина, устраивал погромы — нет, я ошиблась, погромы — это только для евреев, он, кажется, велел пороть крестьян за то, что те помирали от

голода… или что-то еще в этом роде, совершенно бессмысленное. В конце концов один из конвойных офицеров — они все были в белых мундирах и касках с белыми перьями — зарубил Товарова саблей, но Михаил уже давно был мертв. Когда смотришь на такое в лорнет с балкона, все кажется ненастоящим, как в театре, у меня было полное впечатление, что я сижу в оперной ложе.

Внезапно — кто бы мог подумать! — сэр Перси Родинер захихикал. “Ну и ну, — подумала леди Л., — может, он не совсем пропащий. Может, несмотря ни на что, в нем уцелела капелька юмора”. Она, конечно, не надеялась избавить его от предрассудков вроде морали, из обывателя настоящего анархиста и нигилиста не сделаешь; до такой степени свободы могут дойти лишь настоящие аристократы. Но какой-никакой сдвиг все же есть.

Свет графства Кент, степенный, благонравный, будто он возвращался после лодочной прогулки по Темзе с гувернанткой и сачками для ловли бабочек, догорал с чопорной неспешностью; он всегда заставлял леди Л. мечтать, чтобы на землю вдруг обрушилась ослепительная молния или непроглядная тьма. Она ненавидела стыдливую вуаль, которой англиканский климат тщательно

прикрывал живую наготу природы, стараясь приглушить ее буйство. Если посмотреть на них с Перси издалека, похоже было, будто они тут, две фигурки под каштановыми кронами, в аккуратно отмеренном свете, ждут, чтобы их коснулась кисть художника-импрессиониста. Вообще-то ей никогда особенно не нравились импрессионисты. На ее взгляд, им не хватало страсти, чрезмерности. Пожалуй, только Ренуару иногда удавалось изобразить женское тело с должной непочтительностью.

Перси наконец перестал кудахтать и мрачно произнес:

— Очень смешная шутка! И очень скверная! Уверен, вы выдумали всю эту историю потому, что знали, как я привязан к семейству Меримаунт, да что там, еще на той неделе я провел у них выходные.

Леди Л. тихонько взяла его под руку:

— Пойдемте, милый Перси. Всего несколько шагов — и вы все увидите своими глазами.

Глава V

После встречи на улице Фюрси для Аннетты началась жизнь более изнурительная, чем стирка белья в корыте, и едва ли не более омерзительная, чем требования, в конечном счете довольно легко выполнимые, клиентов, которых она принимала у себя. С утра до вечера ее нещадно муштровали: учили ходить, сидеть, чихать, сморкаться, говорить, одеваться — словом, прививали “осанку” и “манеры”, и хотя Арман уверял, что она делает блестящие успехи и в ней чрезвычайно развита способность быть “загадочной”, позволяющая женщинам искусно скрывать свои недостатки, а мужчинам — видеть в них достоинства, которыми сами же их наделяют, но временами ей казалось, что усилия, которые ей приходится делать, чтобы стать подлинной дамой, противны законам природы и нормальной жизни.

Нередко она заливалась слезами над тетрадкой, страницы которой исписывала под руководством каллиграфа месье Пупара изящными *А, Б, В,* — в ту пору красивый почерк считался важным навыком, так что ее принуждали часами его

“вырабатывать”. А грамматика… ничего более извращенного, чем эти причастия и деепричастия с их чертовыми оборотами, удвоенные согласные и так далее, ей, знакомой со всеми разновидностями порока, встречать не приходилось, и больше всего ее бесил и приводил в отчаяние стишок, который заставлял ее повторять и переписывать сам Арман:

Зачем, узрев вас, я, несчастный,
Качнулся, раненный стрелой,
А вы остались безучастной,
Как оловянный идол злой.

Безумной страстью обожженный,
О, как я мог так низко пасть,
Как мог попасть я к смерти в пасть,
Твоей, любовь, рукой сраженный!

Вот когда Аннетте пригодилась отцовская наука, не зря она в угоду ему годами заучивала наизусть и декламировала труды пророков революционного движения, это обогатило ее лексикон, научило изысканно выражаться и даже мыслить; возвышенное представление о человечестве, которое внушили ей анархистские писатели, повлияло на ее душевный склад — и

все это теперь значительно облегчало задачу ее воспитателей. Великодушные и благородные порывы Бабёфа, Блана, Бакунина пробудили в девочке смутную тягу к прекрасному, чувство стиля и тонкий вкус, тотчас проявившиеся в выборе гардероба. Довольно скоро ее поселили в небольшой квартире у Пале-Руаяль под именем мадемуазель де Буазеринье, юной особы, прибывшей в Париж из провинции в надежде завоевать себе место в полусвете. Тут она поступила в обучение к бывшему актеру Комеди Франсез месье де Тюлли, страдавшему какой-то болезнью, которая перекинулась на горло, из-за чего голос, прежде заставлявший трепетать публику, превратился в трагический шепот; для начала они разыгрывали этакие живые картины: во время уроков надо было принимать изысканные позы, двигаться замедленно, придавать себе томный обольстительный вид, затем перешли к еще более мучительным упражнениям в дикции с зажатым в зубах карандашом. После бесконечных занятий Аннетта к концу дня была взвинченной и обессиленной, успокоить ее мог только Арман. Уроки продолжались месяц, и учитель бурно восторгался ученицей:

— Она великолепна! Безупречный вкус и стиль

— это у нее в крови. Я ручаюсь за успех!

После нескольких напряженных недель с криками, сценами и слезами природный ум, чутье и эстетический инстинкт Аннетты превзошли всю премудрость хорошего тона и светского комильфо, однако в ее голосе навсегда остались глумливо-плебейские нотки, в Англии этот выговор списывали на следы бургундского колорита, ведь ее знатный род происходил из этой части Франции. Потом настал черед самой щекотливой и самой трудной части обучения, которая легла на плечи Армана. Он объяснил Аннетте, что она не должна проявлять свою осведомленность и искусность в амурных делах, а, наоборот, должна прикидываться неумехой, чтобы доказать хорошее воспитание, которому сопутствует подобное невежество, и невинность, до которой так охочи знатные поклонники добродетели.

— Господи, да что опять такое, Перси? — досадливо спросила леди Л. — Хватит уже брюзжать. Я была совсем юной, горячей, пылкой, а в Швейцарии, сами понимаете… Арман все правильно делал. Вы же знаете, что такое истинные джентльмены. С ними приходится разводить церемонии.

Поэт-лауреат снова достал платок и нервно утер лоб. В эту минуту на аллею веселой гурьбой

выбежали правнуки леди Л. Две девочки и один мальчик, Патрик, одетый в форму Итонского колледжа. Он нес пальто леди Л. и важно произнес:

— Я принес ваше пальто, дорогая Душенька. Маменька сказала, что становится прохладно и она о вас беспокоится.

Леди Л. ласково взъерошила темные кудри своего любимчика. Он в самом деле был прелестным ребенком, да и вообще мальчики всегда нравились ей больше, чем девочки.

– *Merci, mon mignon*[21], — сказала она по-французски. — А теперь отнеси это пальто обратно своей маменьке и скажи, пусть не беспокоится. В моем возрасте беспокоиться уже не о чем.

— О, вы еще совсем не старая, — сказал Патрик. — Мама уверена, что вы до ста лет доживете.

— Бедняжка Милдред, я вижу, она и правда обеспокоена, — сказала леди Л. — А теперь идите, детишки. Мы тут с сэром Перси вспоминаем добрые старые времена. Да, милый Перси?

Поэт-лауреат боязливо покосился на нее и ничего не ответил. А благовоспитанные дети послушно ушли прочь.

---

[21] Примечания: 21
Спасибо, милый *(франц.)*.

Полгода Аннетту, по ее словам, “дрессировали, как собачку”, наконец она стала так быстро и хорошо усваивать уроки и так убедительно показала Арману, которому не терпелось приступить к делу, свои успехи в овладении светскими навыками, что он совершил ошибку, чуть не обернувшуюся катастрофой. Решив устроить Аннетте испытание и одновременно добавить последний штрих к ее новому образу, он поместил ее в знаменитый парижский пансион в Плен-Монсо, где барышни из благородных семейств, иностранных или провинциальных, проводили несколько месяцев перед первым появлением в большом свете. Конфуз произошел в конце второй недели пребывания Аннетты в этом добропорядочном заведении: мадемуазель Рен, директриса, читала воспитанницам в высшей степени поучительный отрывок из “Заколдованного принца”, как вдруг у помиравшей от скуки Аннетты вырвался негромкий, но отчетливо прозвучавший в мертвой тишине классной комнаты возглас: “К чертям собачьим все это занудство!” Возглас столь искренний и натуральный, что перепуганная мадемуазель Рен усомнилась, вправду ли эта юная особа племянница графа де Сервиньи и внучка носившего то же имя славного воина,

который с честью погиб в битве при Маренго. Тень сомнения сгустилась, когда директриса узнала от одной из пансионерок, что в разговорах с другими девушками Аннетта называла ее не иначе как “старая сводня”. Почтенная дама срочно произвела расследование, и обнаружилось, что все предоставленные “дядюшкой” этой воспитанницы и написанные каллиграфическим почерком документы и рекомендации — фальшивки, а последний отпрыск рода Сервиньи окончил свои дни в Акре как добрый христианин во время крестового похода Людовика Святого. Подозревая, что в пансион проникла воровка, мадемуазель Рен известила полицию; к счастью, одна из девушек, которую безмерно восхищал богатейший лексикон Аннетты и ее обширные познания в некоторых областях жизни, вовремя предупредила ее о замыслах директрисы. Аннетте удалось связаться с Арманом и рано утром, еще до прихода комиссара, сбежать через окно в одном нижнем белье (директриса заперла ее одежду на ключ), однако на прощание она не преминула оставить письмо, написанное изящным почерком, но таким слогом, что директриса пансиона, едва прочитав первые строчки, схватилась за сердце и упала в обморок. Вскоре она

пришла в себя, но ненадолго: страшная мысль о невосполнимом ущербе, который паршивая овца нанесла ее стаду, снова лишила ее чувств.

Как раз в это время внезапно умер один из самых значительных деятелей Третьей республики, в результате чего Альфонс Лекёр потерял влиятельного покровителя, которого долгие годы держал за горло. Самое большее, что смогли сделать по-прежнему преданные Лекёру полицейские, это сообщить ему о том, что в Министерстве внутренних дел принято решение о его аресте. Комиссар Маньен прямо пишет в своих мемуарах, что, не свяжись король апашей с революционерами и удовольствуйся скромным положением сутенера и шантажиста, какое занимал лет двадцать, он вполне мог бы до конца дней жить в богатстве и почете. Целая сеть “заведений”, в том числе роскошные бордели Шабане и Руаяль, два игорных дома, конюшня скаковых лошадей, особняк, кареты и фаэтоны были наспех переписаны на имя некоего подставного лица, каковое, не опасаясь больше затравленного вожака, не замедлило все это присвоить. Вот почему образование Аннетты резко прервалось, и она снова очутилась в Швейцарии, в совершенно незнакомой ей прежде среде. Альфонс Лекёр,

взбешенный, пышущий злобой и ненавистью, грозящий страшной местью обществу, перенес свой двор в женевские и лозаннские кофейни, где Арман, с его хмурого согласия, представлял его русским и итальянским анархистам как великого борца за свободу и провозвестника нового мира, а жокей с печальным смирением смотрел на него, все так же нелепо клоня набок свою птичью головку.

Глава VI

Первые недели наедине с Арманом в Швейцарии были такими радостными, а сама Аннетта была в то время такой молодой, что леди Л. до сих пор казалось, будто, несмотря ни на что, у нее было счастливое детство. И даже заряженные пистолеты, которые он постоянно держал у изголовья, не пробуждали в ней мысли о подстерегающей опасности. Какие страхи, какие заботы, когда жизнь так прекрасна и дни наполнены блаженством!

Она жила в отеле “Берг” в качестве одинокой молодой вдовы некоего графа де Камоэнса; страдальческий вид ее говорил о безутешной скорби, на мир она смотрела рассеянным горестным взором, словно не видя никого и ничего; в Швейцарию, как говорили, она приехала лечиться, дескать, ее здоровье подтачивала непонятная болезнь, пусть еще не чахотка, но предвещающее этот недуг сумеречное состояние. Иногда ее видели на коротких прогулках по берегу озера с двумя борзыми на поводке; графиня выглядела бледной и истощенной, и это не было притворством: дело

в том, что Арман, возможно томясь от вынужденной праздности — он ждал, когда соберется правление нового Анархистского интернационала в Базеле, — никогда не был столь пылким и неутомимым и щедро расходовал свои молодые силы в объятиях любовницы; адепты прямого действия наверняка сочли бы его достойным порицания, за то что он преступно расточает энергию, которая по праву принадлежит народу. Каждый день поутру Аннетта взбегала по лестнице обшарпанного домишки в одном из старых кварталов Женевы, стучала в дверь студенческой комнаты и с порога бросалась в объятия Армана; прижимаясь к нему, она чувствовала, что вырвалась из пут, что наконец свободна и вернулась туда, где ее место в мире, где ей почему-то легко и спокойно; они оба застывали в полнейшем умиротворении и предвкушении тихой радости, которая послушно нисходила на них. Потом в неприбранной каморке, где посреди книг, газет и тетрадей стояли тарелки с остатками нищенской пищи, Аннетта, рассыпав волосы на грудь Армана, склонялась над ним, жадно всматривалась и не могла наглядеться, нежно гладила, стараясь глазами и пальцами уловить и выучить наизусть каждую черточку любимого лица, его блажен-

ную улыбку, чтобы потом представлять себе это лицо, лежа с закрытыми глазами в холодном одиночестве своих роскошных апартаментов или гуляя с отрешенным, утомленным видом вдоль озера, среди благопристойно приглушенных, неярких видов чистенькой, сдержанной, обузданной природы. Три недели продолжались их бурные свидания, три недели упивались они несказанным, каждый раз новым счастьем, не внемля уроку умеренности и благоразумия, который преподносила им обширная озерная гладь, открывавшаяся из окна. Порой она думала, что видит сон и скоро придется проснуться, вернуться на землю. Тогда она вздыхала и грустно смотрела на Армана:

— И что же, скоро конец нашему пикнику?

— Какому пикнику, любимая?

— Ну вот, сейчас пойдет дождь, и будет пора возвращаться.

Бывали минуты, когда ей казалось, что он наконец-то расстался с другой своей страстью, с мечтой о всеобщем счастье, которое настигнет всех и каждого, что они наконец-то одни и даже заряженные пистолеты на прикроватном столике как будто валяются далеко позади, в заброшенном краю, откуда он спасся бегством.

Как будто все навсегда забыто: великие замыслы, революции, бомбы, кровавые покушения, — и остался крепкий, здоровый парень, который наконец опомнился и вернул любви и ласкам их непреложное, первое место в жизни. Она, конечно, догадывалась, что господа Свобода, Равенство и Братство в шляпах-котелках и с густыми усами никуда не делись, раздраженно расхаживают взад-вперед по улице где-то неподалеку, то и дело вытаскивая из жилетного кармана часы на цепочке и нетерпеливо глядя на циферблат. Но старалась не думать об этом — она уже усвоила, что материя счастья — забвение. Впрочем, думать о будущем — мужское занятие. Аннетта же открыла для себя новое, чисто женское, неоспоримое сокровище — настоящее. Ей было невдомек, что Арман сражался сам с собой, разрываясь между зовом собственной судьбы и неумолчно обращенным к нему воплем мира голодных и рабов, отверженных и презренных, — воплем немым, заглушенным крикливой буржуазной прессой, но оттого еще более настойчивым. Лишь много позже, семнадцать лет спустя, леди Л. обнаружила следы этой борьбы в письме, которое Арман Дени вскоре после переезда в Женеву написал Дино Скаволе, социалисту, предпочитавшему

идеи Карла Маркса кровожадным императивам анархистов. Оно приведено во втором томе автобиографии Скаволы[22]:

> Возможно, вы правы. Я тоже иной раз склонен думать, что терроризм происходит не столько из логики революции, сколько из безрассудной торопливости. И возможно, то, что вы говорите о нашем неверии в свои силы, не лишено оснований.

Скавола также публикует свое письмо к Арману Дени:

> *Пусть же сила разума наконец возобладает над необузданными страстями, пусть поборники абсолюта наконец откажутся от своих идеалистических оргий и душевный экстремизм прекратит насиловать человеческую природу… Все ваши друзья клянутся в любви к людям, меж тем как многие из них скорей стремятся свести личные счеты с Создателем, отомстить ему, наказывая людей за их*

---

[22] Примечания: 22
“Революции, революционеры”, Милан, 1907. *(Прим. автора.)*

несовершенство… К настоящему социализму их действия имеют такое же малое отношение, как разные извращения к настоящей любви.

Тогда Аннетта знала одно: ее Арман — невообразимо страстный любовник, она еще не успела изучить повадки таких, как он, чтобы понять: он потому так исступленно, так безудержно предается ласкам, что пытается найти в ее объятиях убежище, забыть о другой, всепоглощающей страсти, более сильной, чем любовь к женщине. Ей даже чудилось, что у Армана нет никого, кроме нее, она еще не осознала, что у нее есть соперница, именуемая Человечество. Возможно, в жизни неистового апостола “перманентной революции” то было единственное недолгое время, когда он и впрямь старался сбросить оковы убеждений, много лет удерживавшие его в тягостных глубинных слоях жизни, вырваться на поверхность и поплыть по течению, наслаждаясь всем самым банальным и легкомысленным: поцелуями, ландышами, синим небом. Он попытался быть счастливым. Иногда они вставали с постели, выходили на балкон и любовались открывавшимся поверх крыш видом на белесое

озеро и горы, которые словно приветствовали влюбленных, забрасывая далеко в прозрачную воду свои снежные шапки, но Аннетте быстро надоедало это занятие. Единственным, что она могла разглядывать часами, был сам Арман, его трепетно дышащее, мускулистое лицо с чуть приплюснутым носом, буйные кудри, сильная шея и литые плечи в распахнутом вороте белой шелковой рубахи; ей постоянно хотелось потрогать этот похожий на звериный нос, запустить руку в эти растрепанные волосы, на свету отливающие бронзой, утонуть в этих одновременно веселых и сумрачных глазах, менявших цвет, когда Арман смеялся. Голос его был глубоким, отрывистым, каким-то неровным, речь походила на танец, в котором танцоры то замирают, то снова пускаются в пляс, но никогда не теряют темп, не знают медлительности, устали и лени.

— Арман, научи меня какой-нибудь любовной песенке!

— Вот те на, неужто ты не знаешь ни одной?

— Все, что я знаю, слишком печальные и коротенькие. Все стонут, плачут, причитают, как будто их сочинители помирают от чахотки. Нет, придумай мне хорошую любовную песенку.

— Не очень-то я в этом деле силен, но ладно,

попробую.

Вот так и вышло, что столь популярный в 1890-е годы стишок “Прощай, короткий счастья миг”, позднее положенный на музыку Аристидом Фильолем, был написан в женевской мансарде скрывающимся от правосудия террористом. Когда леди Л. впервые услышала эту песенку, проезжая в карете по парижским улицам с сэром Алланом Хезлитом, британским послом, она мгновенно узнала слова и побледнела под своей вуалеткой, а потом, к изумлению дипломата, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Арману удалось перещеголять своих предшественников: его любовная песенка оказалась еще короче и печальнее всех других.

Однако Свобода, Равенство и Братство устали ждать и вскоре решительно заявили о себе. Арман стал привечать политических эмигрантов всех мастей: поляков, восставших против ига русского царя; немецких революционеров, со свойственной их нации методичностью регулярно повторявших неудачные покушения на кайзера; венгров, все еще мечтавших о возвращении Кошута; итальянцев, готовивших убийство своего короля; сербов, чаявших падения Габсбургов. И Аннетта, взбежав на пятый этаж

и распахнув дверь со счастливой улыбкой, все чаще натыкалась на неких сгрудившихся вокруг стола личностей, которые строили планы какого-нибудь покушения в Париже, Вене или Москве, записывая их на том же грязном клочке бумаги, где валялся обглоданный хребет и лупоглазая голова русской селедки. Они оставались на ночь, спали вповалку на полу или до самого рассвета горячо обсуждали свежие политические новости с соответствующей родины, которые приносили новоиспеченные изгнанники. Как пылко, как восторженно встречали они любые слухи, лелеяли малейшую крупицу надежды, с какой неистребимой верой в свою правоту во всем усматривали благоприятные знаки и каждый день ждали грандиозных переворотов, восстаний, которые уже ничто не остановит и которые позволят им взять ход событий в свои руки и устроить грандиозную резню во имя справедливости или чистоты крови. Они жили в уверенности, что народы сочувствуют им, угнетенные массы на их стороне и только ждут сигнала, чтобы подняться на бой, а ждать осталось недолго — это вопрос нескольких месяцев, недель, а то и часов. Причем среди них не было ни рабочих, ни даже сыновей рабочих и крестьян; русские все как на подбор

происходили из благородных и часто родовитых семейств; немцы — из зараженных романтизмом, поэтически настроенных буржуа; итальянцы — из любителей бельканто, желавших, сами того не сознавая, превратить мир в оперную сцену, где будет звучать прекрасная музыка любви, которой полны их сердца; все принадлежали к аристократии духа, всех вдохновляли высокие чувства к Человечеству, их Прекрасной Даме, просто-напросто заменившей собой другую Даму, ту, что воспевали трубадуры в эпоху куртуазной любви; бедняки стали объектом их культа, а политическая доктрина — религией; они искали в революции почетные титулы почище тех, которыми многие обладали от рождения; позднее некоторых постигало разочарование в идеалах, естественное следствие чрезмерных ожиданий, и они примыкали к фашистам или нацистам, что равноценно типичному самоубийству на почве обманутой любви. А некоторые, великие мечтатели, чистые души, взрывали бомбы в парламенте, где великие буржуазные ораторы собирались покрасоваться на трибуне перед своими любовницами, и гордо поднимались на эшафот, уже мысленно видя, как их отрубленной голове воздадут положенные по традиции поче-

сти. Трагическим и яростным героизмом насилия они тщетно пытались нарушить последний сон дряхлеющего века; их слишком чуткий слух уже улавливал далекий рокот надвигающейся исторической бури, но им не хватало ни терпения дождаться, ни сил ускорить ее.

Аннетта заставала их в маленькой комнатушке за трапезой из хлеба с нарезанной на газетной бумаге сухой колбасой, предающихся мечтам о каком-нибудь чудесном случае или сказочном подвиге, которые прямиком приведут их к заветной цели, избавив от долгой и не слишком плодотворной просветительской, пропагандистской и организационной работы. Один такой, толстый, лысый, бородатый и воняющий табаком русский, торчал тут уже две недели — дожидался, пока мать пришлет ему в Женеву денег, чтобы он мог вернуться в Санкт-Петербург и прикончить царя. А пока твердил всем и каждому, какая замечательная, отважная, умная женщина его мать. Звали его Ковальский, а мать его действительно была знаменитая графиня Ковальская, сосланная за революционную деятельность в Сибирь и ставшая там музой-вдохновительницей самого Чулкова. Прошло еще несколько недель, и Ковальский в самом деле вернулся в Россию, но

вместо того, чтобы взорвать царя, по несчастной случайности взорвал самодельной бомбой собственную мать. Другого русского звали Килимов, это был молодой офицер, выпускник Пажеского корпуса, человек молчаливый, раздумчивый, замкнутый, он без конца разыгрывал партии в шахматы сам с собой и неизменно проигрывал, что, кажется, доставляло ему какое-то особое мрачное удовольствие. Третьим был Наполеон Россетти, маленький бойкий итальянец из Кремоны, он играл на скрипке в разных кафе и всюду таскал с собой бомбу, запрятанную в невинного вида футляр.

— Здесь, на Женевском озере, кого только не бывает, — любезно объяснял он Аннетте. — Мало ли кого повезет встретить. Мой девиз: “Всегда готов услужить!”

Когда-то леди Л. нашла в книге сэра Бертрама Мура “Эссе об искусстве”, изданной в 1941 году, пассаж, который отлично подходил к Арману и его соратникам:

> Таков закономерный конец: тяга к прекрасному должна была рано или поздно выйти за рамки искусства и взяться за саму жизнь. И вот мы видим, как вдох-

новенные художники стремятся создать шедевр из реальности, рассматривая жизнь и общество как материал для творчества. Представьте себе, что какой-нибудь Пикассо или Брак, пытаясь построить новый мир по канонам своего искусства, мнет человечество как глину, так что его попытки оборачиваются пытками. Это и происходит с нами. Остается понять, откуда берется в людских душах эта самая тяга, где то укромное место, в которое она засунута.

Поначалу кружок конспираторов даже нравился Аннетте. Но Арман решил, что никто не должен знать, кто она такая, иначе их планы окажутся под угрозой, и запретил ей приходить к нему домой, когда там его товарищи. Тогда Аннетта возненавидела их с такой силой, что охотно выдала бы полиции, если бы в таком случае не пришлось бежать и ее возлюбленному.

Вынужденная проводить большую часть времени в одиночестве, она стала искать утешение, пользуясь приятными возможностями, какие давало ей новое положение и остаток денег Альфонса Лекёра. Например, пускалась в даль-

ние прогулки по окрестностям; сидя в карете и поигрывая омбрелькой, она напускала на себя загадочный, мечтательный вид, чтобы раздразнить любопытство встречных одиноких гуляющих, и нарочно приказывала кучеру ехать медленно — ей нравилось, что на нее смотрят, и хотелось сполна насладиться впечатлением, какое она производит. Она любила останавливать карету перед романтическими виллами с итальянскими балконами, на которых так и мерещатся тени давно ушедших в мир иной любовников, и смотреть на изящных дам и элегантных господ, играющих на лужайке в крокет; захаживала в открытый для публики парк великого князя Алексея, где посетителей пускали в цветочный лабиринт лишь в сопровождении гида; и в ней крепло жгучее желание быть богатой, иметь собственный дом, карету, парк, гулять в принадлежащих ей цветниках. Бесконечное разнообразие цветов всегда казалось ей одним из самых главных чудес творения. Она жадно расспрашивала садовников, как называется то или иное растение, что оно любит, какие ему требуются условия, какие у него причуды; старалась, закрыв глаза, распознать цветок по запаху и, если угадывала, радовалась, как будто обрела друга на всю жизнь.

Часами пропадала она в модных магазинах, примеряла разные наряды и шляпы, накидывала боа из перьев или закрывала лицо вуалеткой, что придавало ее юной красоте таинственный флер, а продавщицы ахали: “Мадемуазель такая красивая!”

В пять часов она непременно появлялась в кондитерской Румпельмейера, пила чай, прислушиваясь к приглушенному гулу разговоров на французском, русском и немецком, но делая вид, что ничего не видит и не слышит, кроме *O sole mio!* в исполнении пухлого итальянца, он пел, прижимая к груди волосатую руку, а тощий патлатый напарник аккомпанировал ему на скрипке. Аннетта сполна овладела искусством выглядеть рассеянной и отчужденной и так умело изображала гордое одиночество, что ни один из тех молодых или старых господ, что рыщут по кондитерским в час чаепития, ни разу не осмелился ни заговорить с ней, ни даже открыто взглянуть на нее. Лишь изредка чинную, благопристойную атмосферу изысканного заведения стрелой пронзал ее быстрый плутовской взгляд, а в лице на долю секунды мелькало такое ехидное выражение, что в руках настороженных охотников начинали дрожать и бренчать

чашки, блюдца и ложечки, но, прежде чем эти жалкие любители успевали что-то заподозрить или прежде чем в них успевала забрезжить надежда, на губах Аннетты не оставалось и следа безжалостно подавленной улыбки, ее длинные ресницы кротко опускались, лицо вновь становилось непроницаемо отрешенным, а в ушах вновь звучали слова месье де Тюлли:

— Запомните, дитя мое, вы безучастны, недосягаемы, неприступны. Богиня на своем уединенном Олимпе… Так что никто не смеет и помыслить… Можно лишь благоговейно обожать вас издалека и безнадежно вздыхать. И тогда вы добьетесь от них всего, что пожелаете.

Последний озорной молниеносный взгляд — и снова, прежде чем хоть один из поклонников решался поверить своим глазам и вскочить со стула, ее лицо становилось бесстрастным и являло собой совершенство бесспорно аристократических черт: тонкий благородный нос и низко опущенные, словно изнемогающие от скромности ресницы.

Ее часто видели в ювелирных лавках, где она перебирала безумно модные в то время итальянские камеи — их у леди Л. до сих пор сохранились полные коробки — или примеряла браслеты,

броши и серьги, которые тогда еще не назывались ужасным словом *clips*, и так велика была ее сила воли, так прочна совсем недавно приобретенная респектабельность, что она ни разу ничего не украла, хотя искушение было огромно и порой она чуть не плакала с досады. Однако она быстро поняла: настоящее сокровище — не драгоценные камни и не произведения искусства и по сравнению с живой красотой форм, света и красок, какую дарит нам земля, самое роскошное украшение — просто дешевая побрякушка. У нее было врожденное чутье на все подлинное. Она инстинктивно отличала натуральную элегантность от фальшивой, настоящую изысканность от поддельной, и у нее открылся непостижимый талант добавлять к своему туалету нечто особенное, едва заметное, благодаря чему она всегда, в любом окружении оказывалась одетой лучше всех других женщин.

Все, чему так упорно обучал ее месье де Тюлли, она окончательно усвоила, гуляя по окрестностям. Ветка лилии учила ее грациозности, скользящие по глади озера лебеди и шелковистые цветочные лепестки давали больше, чем все учебники хороших манер, вместе взятые; каждая прогулка в парке добавляла легкости и

непринужденности ее осанке; так что теперь при ее появлении, будь то у Румпельмейера, когда она, сидя за столиком, слушала разноязыкий говор, или на вернисаже, когда прохаживалась перед картинами, — все восхищались не только ее красотой, но еще и чем-то особенным и естественным, что тотчас распознают настоящие аристократы, неким небрежным, властным, неподражаемым *on ne sait quoi*[23]; такому нельзя научиться, это врожденное качество; “Вот это порода!” — говаривали ценители голубой крови, понимающе переглядываясь. И много лет спустя, когда леди Л. случалось вспомнить о своих первых успехах в свете, она закатывалась веселым беззаботным смехом с такой неприкрытой, откровенной насмешкой над всем на свете, что окружающим становилось не по себе и они шептались: дескать, в характере этой светской дамы есть примесь чего-то аморального, даже нигилистского, что, впрочем, нередко встречается у знатных особ, которых многовековая привычка к вседозволенности и привилегированному положению делает чуточку эксцентричными и совершенно непочтительными. Когда худож-

[23] Примечания: 23
Нечто невыразимое *(франц.)*.

ники и скульпторы восторгались присущим ей естественным стилем, заметным в каждом движении, она вполне серьезно объясняла:

— Всему этому учишься у цветов.

Еще Аннетта полюбила музыку и быстро научилась отличать чистое искусство от виртуозности. Сидя в концертном зале с полузакрытыми глазами, она отдавалась сладостной неге, уступающей только любовной. Однако она навсегда сохранила пристрастие к простецкому вальсу, который считался в то время непростительно вульгарным: понадобились долгие годы, чтобы леди Л. удалось приучить это дитя улиц к великосветским салонам.

Глава VII

Кружок, который сложился в Женеве вокруг Армана Дени, в то время рассорился со всеми прочими революционерами. На тайном собрании, состоявшемся в Базеле в январе 1890 года, эти экстремисты заклеймили учение Карла Маркса, объявив, что оно ведет к полному порабощению личности государством, отказались от всякого сотрудничества с английскими социалистами, которых обозвали “фабианскими овцами”[24], и окончательно порвали с Кропоткиным и Федухиным, потому что те “боялись замарать свои белые перчатки”[25]. “Комитет освобождения”, как нарекло себя совместное руководство движения “перманентной революции” после базельского раскола, отчаянно нуждался в деньгах, и это как раз тогда, когда обдумывались и намечались самые смелые планы. Благодаря налету на почтовый фургон в Лозанне, осуществленному

---

[24] Примечания: 24

Арман Дени. *Пасторальные иллюзии.* Статья в газете “Л'Ом либр” от 3 января 1890 г. *(Прим. автора.)*

[25] Примечания: 25

Там же.

Арманом и Лекёром, и ограблению ювелирного магазина “Максимен” в Женеве в феврале 1890-го (работа Армана и Шлессера) удалось организовать и вооружить полдюжины летучих групп, которые в начале весны пересекли французскую границу. Половина их состава тотчас испарилась вместе с деньгами, остальные дали о себе знать только неудачной стычкой во время демонстрации в Клиши 1 мая 1891 года, дело ограничилось несколькими выстрелами, ни убитых, ни раненых не оказалось. Буржуазное общество буквально всасывало анархистов, как промокательная бумага всасывает чернила; приходилось постоянно вербовать новичков, а значит, каждый раз тратить много времени на их теоретическое и практическое обучение, что никак не вязалось ни с темпераментом Армана Дени, ни с его обнародованной в Базеле идеей о необходимости “срочных действий в мировом масштабе”, чтобы спасти человечество от угроз, нависших над ним из-за соперничества колониальных держав и честолюбия правителей. Проще и эффективнее было нанимать за деньги исполнителей из преступной среды, этим занимался некий Кёнигштейн, он же Равашоль, в Париже. Арман счел, что если заменить несколько сот

кровавых уголовных преступлений, в среднем совершаемых в год, убийствами политическими, то капиталистическое общество лишится своих столпов и рухнет под первым же натиском восставших масс[26]. Но такая тактика очень дорого обходилась: если настоящие идеалисты работали даром, то профессионалам высокой квалификации приходилось платить немалые деньги. Арман долго колебался — теперь, вспоминая об этом, леди Л. понимала, что именно тогда она была в двух шагах от победы, хотя и не догадывалась об этом, — но наконец принял решение использовать Аннетту в тех целях, ради которых привлек ее полтора года тому назад. Обворожительная графиня де Камоэнс посещала разные виллы, пила там чай, играла в крокет, гладила по головкам детишек, слушала камерную музыку и внимательно приглядывалась, соображая, кого из радушных хозяев сподручнее ограбить. Недостатка в кандидатурах не было.

Необходимыми знакомствами в высшем свете ей удалось обзавестись благодаря стараниям некого барона де Берена. Барон, человек высочайшей культуры и тонкого ума, был, на свою

---

[26] Примечания: 26

Арман Дени. *Преступный мир и мы.* Статья в газете “Л'Ом либр” от 14 ноября 1889 г. *(Прим. автора.)*

беду, одним из тех, кого Альфонс Лекёр уже много лет держал на крючке. Лекёр безжалостно шантажировал этого аристократа с безупречной репутацией и безукоризненным вкусом, потому что знал о душевном изъяне, из-за которого он мог получать определенные необходимые ему удовольствия лишь среди гнусного разврата и подвергаясь болезненным унижениям, лишь стоя на коленях над бездной и лучше всего — на волосок от смерти. Сам Фрейд вряд ли смог бы излечить тщедушного седого господина от непреодолимой тяги к темным страстям и подчинению, которую испытывал затаившийся в нем, взрослом, несчастный порочный ребенок, жаждущий наказания. И если этому отчаянному любителю головорезов, закутанному в дорогую шубу, с блестящим в свете газовых фонарей моноклем на бледном лице, не перерезали горло, когда он по ночам, замирая от ужаса и восторга, опускался на грязное дно общества, то только благодаря протекции Лекёра. Он давно промотал все свое состояние и находился под опекой, так что вот уже много лет бывший хозяин “Шабане” использовал его только в качестве отмычки, открывавшей двери в среду игроков и золотой молодежи, куда так стремился проникнуть

“милорд” Лекёр до того, как у него открылось революционное призвание. Берен и обеспечил Аннетте прикрытие в женевском высшем свете, состоящем из чинно скучающих праздных толстосумов. Именно с этой целью Лекёр вызвал его в Швейцарию. Бедняга притащился туда нехотя и сразу же заболел — чистый швейцарский воздух был ему противопоказан и вызывал обострение астмы. Он начинал задыхаться, попав в здоровые условия жизни. “Не выношу природу!” — сокрушенно шептал он Аннетте, лежа в постели в своих роскошных апартаментах отеля “Берг” с наглухо закрытыми окнами и шторами. Однако ослушаться Лекёра не посмел. Он доблестно боролся со светом, с весной, со свежим ветром горных вершин, потерял аппетит, захирел, еле дышал и лишь кое-как утешался в компании кучеров. Но с заданием справился. Ему понадобилось несколько недель, чтобы ввести графиню де Камоэнс, у которой как раз закончился траур, в свет и дать ей освоиться, а затем он поспешил вернуться в Париж, где быстро поправил здоровье. Но переусердствовал, проходя лечебные процедуры в мрачных притонах, а между тем прошло то время, когда все блатные были под каблуком у Лекёра. Через несколько месяцев

после возвращения из Женевы барона нашли мертвым в сточной канаве, на лице его так и застыла гримаса сладкого страха.

Аннетта легко примкнула к шикарной стае перелетных птиц, которые порхали из страны в страну, применяясь к временам года: то отдыхали на водах в Баден-Бадене или Киссингене, то пировали на природе у живописных озер, то фотографировались с альпенштоком в руке на фоне ледника, пока их дочки и сынки под присмотром немецких наставников или английских гувернанток писали миленькие акварели в манере Эдварда Лира, читали “Маленького лорда Фаунтлероя” или бренчали на пианино. Швейцария была излюбленным местом гнездования этой изнеженной публики; в те времена склоны Монблана еще не привлекали, а скорей страшили приезжих: викторианская эпоха с ее мягким плюшем, теплыми грелками, альбомами и засушенными цветами между страниц дневников предпочитала разбивать стоянки у воды или в ухоженных парках, например у озера Комо, в Стрезе или Интерлакене.

Однако, вращаясь в среде праздных гуляк, которых заботило одно — неукоснительно соблюдать правила приличия и быть во всем *comme il*

faut, Аннетта познакомилась с одним из самых эксцентричных, образованных и умных своих современников. Эдвард Лир, чьим щедрым покровителем он был долгое время, называл его не иначе как “блаженным бонзой”; именно он послужил прототипом короля Зазеркалья для Льюиса Кэрролла, который в письме к Дадли Пейджу так описывал его:

> *Представьте себе Будду, но только тощего, зато с бритой головой и вечно безмятежной улыбкой, с веками без ресниц над узкими прозрачными глазами, и с устами гурмана, словно хранящими вкус всех яств, какие им когда-либо довелось отведать, и… вы ничего не узнаете о человеке, невидимом под этой застывшей маской; глядя на него, иной раз думаешь, что это каменная статуя, внутри которой живет некое существо, которое вовсю развлекается, глядя на все вокруг и в том числе на вас, – не слишком приятное ощущение для его собеседника.*

Герцогу Глендейлу, для друзей — Дики, шел тогда шестой десяток, все знали, что его издавна терпеть не может королева Виктория, и он, по-

хоже, дорожил этой репутацией. Враги считали его глубоко испорченным человеком, друзья видели в нем воплощение мудрости. Он славился причудливым, авантюрным характером, унаследованным от отца, который сопровождал лорда Байрона в его роковом путешествии в Грецию — причем пустился в дальний путь не из сочувствия героическим грекам, а ради красоты пейзажей, общества великого поэта и надежды заполучить какую-нибудь диковинную древность. После смерти Байрона он продолжал воевать на стороне Ипсиланти, несколько раз рисковал жизнью, отбивая у турецкой конницы священный холм Гелиоса, а потом, одержав победу, разграбил храм и, прихватив трофеи, с триумфом вернулся в Англию. Его сын, лорд Глендейл-младший, к возмущению молодой королевы и принца-консорта, женился на цыганке, а после смерти жены уехал в Испанию и много лет прожил там в ее родном таборе. Потрясенные английские туристы узнавали его на улицах Севильи с попугаем на плече и обезьяной-плясуньей, которой он аккомпанировал на тамбурине. Затем он отправился на Дальний Восток и исчез там на несколько лет, а вернулся с бритой головой, в оранжевом одеянии буддийского монаха.

После того как он предпринял безуспешную попытку обратить в буддизм архиепископа Кентерберийского и напечатал в “Таймс” письмо против псовой охоты, написанное в гневно-ироничном тоне и способное понравиться разве что лисам, его выдворили из Англии. Он поселился в Италии, и толки о нем поутихли, но просто потому, что он якшался с такими людьми, о которых и говорить-то неприлично: нищими художниками, социалистами, анархистами — не брезговал никем. В конце концов самой сильной страстью в его жизни стала любовь к искусству. Среди тогдашних маршанов и коллекционеров ходили легенды о его непогрешимом вкусе и суждении; в искусстве он видел бунт против человеческого удела и краткости земной жизни. Лорд Глендейл отличался терпимостью, всегда любезно улыбался, что одни расценивали как проявление аристократического равнодушия и даже высокомерия, а другие — как защитную реакцию сверхчувствительной, ранимой натуры, которая заслоняется холодной иронией; как бы то ни было, но с таким, как у него, пренебрежением к условностям и викторианским нормам жизнь в Англии была ему практически заказана.

Аннетта привлекла его внимание с первой же

встречи на светском рауте у русского посла графа Родендорфа. Разумеется, его впечатлила ее живость и красота, но дело было не только в этом: он отметил любопытные странности в ее поведении. В то время Аннетте частенько приходилось помалкивать и бдительно следить за собой: какое-нибудь жаргонное словечко, резковатый жест, слишком явный пробел в познаниях могли дать пищу злым языкам, и ей всякий раз становилось не по себе, когда лорд Глендейл пристально ее разглядывал, чуть сощурив лишенные ресниц глаза и неизменно улыбаясь уголками губ. Выступающие скулы и бесстрастное выражение лица подчеркивали его странный восточный колорит. Он стал искать случая встретиться с ней, и скоро они уже виделись едва ли не каждый день, хотя Аннетте по-прежнему было с ним неловко: он так смотрел на нее, так сердечно улыбался, что ей казалось, будто она уже невольно ответила на все его вопросы. Зато он был очень милый, занятный и, судя по всему, влюбился в нее. А она никогда раньше и представить себе не могла, чтобы простой смертный жил так, как живет лорд Глендейл. У него было все: целый штат французских и китайских поваров, итальянских мажордомов, чистокровных скакунов и ирландских тренеров,

поэтов, музыкантов; личный поезд, готовый в любой миг перевезти его из конца в конец Европы; конюшни беговых лошадей, своры гончих, коллекции картин и прочих произведений искусства, множество особняков и парков, но казалось, что ему доставляет удовольствие не столько владеть этими богатствами и привилегиями, сколько насмехаться над ними, над самим собой, над обществом, которое его терпит; вся его окруженная роскошью жизнь была пародией на собственное существование и на все то, что делало его возможным. Однажды в разговоре с Аннеттой он назвал себя “подстрекателем”, и, только став леди Л., она по-настоящему поняла, что имел в виду этот террорист.

Очень скоро на ней стало сказываться его влияние, она проникалась им исподволь, сама того не сознавая, и постепенно оно ее изменило; уж очень привлекательным был его взгляд на вещи, этакий маскирующий неискоренимую любовь к жизни веселый скепсис в сочетании с полным отсутствием предрассудков, которое граничило с беспринципностью и подкупающей безнравственностью; она решила, что такой фасон ей в самый раз, и принялась, в свою очередь, приглядываться к Дики, пытаясь разгадать, как

ему удается одной лишь силой взгляда держать людей на расстоянии. Он никогда не расспрашивал Аннетту о прошлом, и хотя уже в том, как тщательно он избегал этой темы, читалось некоторое подозрение с оттенком иронии или даже какой-то намек, она оценила эту сдержанность и перестала стесняться и держаться настороже в его присутствии. Если ей и случалось совершить оплошность, если у нее вырывалось неподобающее словечко или так или иначе пробивалась плебейская закваска, он ловко умел это не заметить. Однако, несмотря на удовольствие, которое ей доставляло общество лорда Глендейла, она не забывала о своем задании и приготовила подробный план его виллы, точно указав, где какие находятся ценные вещи, и даже пронумеровав содержимое каждой витрины. План составлялся мало-помалу по ходу ее визитов на виллу: они с лордом почти каждый день занимались рисованием на террасе, откуда открывался вид на парк и на озеро; вдали, на французском берегу, возвышались горы, а по водной глади мотыльками порхали парусники. Глендейл писал портрет Аннетты, Аннетта же, держа на коленях альбом, старалась, нельзя сказать чтоб уж очень усердно, изобразить статую мускулистого Аполлона, укра-

шавшего лестницу.

— Дики, а что за прелестные вещицы лежат на третьем этаже справа по коридору, перед входом в библиотеку? — спрашивала она, пока Глендейл, закрыв один глаз и вытянув руку, измерял ее карандашом.

— Понимаю ваш интерес. Это египетские скарабеи, они датируются третьим тысячелетием, их по моему заказу выкрали из гробницы одного фараона. Я, знаете ли, держу в Египте целую команду археологов, которые поставляют мне краденые сокровища. Как раз сейчас они открыли новое захоронение и грабят его для меня. Я, так сказать, выступаю меценатом.

— И много стоят эти штучки?

— Огромных денег стоят. Потому что они уникальны.

Аннетта сдвигала рисунок с Аполлоном, обозначала на плане витрину и делала приписку на полях: “Не пропустить! Золотые египетские скарабеи”.

— Возможно, весной я сам поеду в Египет руководить похищением. Хотите со мной?

— О, это было бы чудесно. Но интересно знать, за сколько их можно продать? Я, разумеется, спрашиваю просто так, из чистого любопытства.

— Разумеется. Ну смотрите… Лувр предлагал мне за них десять тысяч фунтов, а кайзер, когда был тут у меня в прошлом году, предлагал вдвое больше, но не получил их.

— Двадцать тысяч фунтов? — Аннетта невольно понизила голос, большие деньги все еще внушали ей почтение. — Неужели кайзер и впрямь заплатил бы вам столько, если бы вы согласились отдать скарабеев?

— Несомненно. Мало того, я бы ничуть не удивился, если бы он объявил войну Англии или Швейцарии с единственной целью заполучить моих скарабеев. Он тоже меценат, как и я.

Аннетта записала сумму со знаком вопроса и старательно вывела имя потенциального покупателя: германский император. Перспективный канал сбыта, но тут могла возникнуть этическая проблема: как-никак, друзьям Армана неудобно сотрудничать с ненавистным им кайзером. Аннетта вдруг подумала, не проще ли рассказать об их плане ее новому другу — он вполне мог бы помочь ограбить самого себя. Она так искренне, по-детски восхищалась им, что это не укрылось от Армана и страшно его возмутило.

— Это же скотина! А хорош он только тем, что скотство его неприкрыто и, стало быть, в

некотором смысле он работает на нас: ускоряет революционный процесс. Отъявленный эгоист, сибарит, который думает только о собственном удовольствии. Нет ничего омерзительнее либерального позерства, выдающего свой скепсис и цинизм за особую мудрость. Искусство для него — красивая завеса, которой можно отгородиться от нищеты и уродства окружающего мира.

Аннетта попыталась возразить:

— Но он такой добрый и щедрый. Помогает многим художникам, писателям, музыкантам. Если б не он, они бы ничего не создали и умерли от голода.

— Вот в этом я не сомневаюсь! — Арман насмешливо пожал плечами. — Художники всегда были, а теперь еще больше становятся пособниками правящих классов: когда народ отвернулся от церкви, они зазывают его в музеи, где охмуряют новым опиумом в тех же целях. Когда я слышу слово “культура”, то хватаюсь за пистолет[27]. Всем этим поэтам и музыкантам платят за то, чтобы они усыпляли народ сладкими колыбельными, а мерзавцам художникам — чтобы они

[27] Примечания: 27

Арман Дени высказал эту мысль в письме к Скаволе, приведенном в “Мемуарах” последнего (1904), то есть за тридцать три года до аналогичного высказывания Геббельса. *(Прим. автора.)*

приукрашивали существующий общественный строй. Не может быть красоты без справедливости, искусства без достойной воспевания жизни. Глендейл по сути — растленный реакционер. Народ растопчет его, и только в учебниках истории останется описание его как болезненного явления, к которому не должно быть возврата.

Этот разговор они вели, гуляя по лугу цветущих нарциссов на склоне Мон-Пелерен. Арман возвращался со студенческого собрания. По дороге они набрали черешни в белую фуражку, которой он разжился ради такого случая. Он держал ее в руках, а солнце и ветер играли его волосами. Коренастый, приземистый, с мускулистыми руками и плечами, он выглядел грубоватым дикарем, что удачно схвачено на известном рисунке из “Пер Пенар”. Леди Л. рисунок вырезала и наклеила на лик святого Кирилла — эта русская икона хранилась у нее в садовом павильоне. Вокруг раскинулось юное лето: огромное озеро с разбросанными по берегам городишками, синие горы, хрустальный звон колокольчиков невидимого стада, разносившийся в чистейшем ледниковом воздухе, — это лето, так хорошо умевшее отвернуться от грязи и от страданий ближнего, наверняка тоже было растленным и реакцион-

ным, но Аннетте его язык был более внятен, чем язык Армана.

— Глендейл принадлежит к паразитическому классу, вся жизнь которого посвящена тому, что такие, как он, называют “священным эгоизмом”.

Аннетта вздохнула: для нее тоже не было ничего более священного. Это вовсе не значит, что ей претила мысль о краже коллекций Дики, скорее даже наоборот, но до чего глупо тратить такие деньжищи на то, чтобы взрывать мосты, пускать под откос поезда, убивать министров, печатать листовки и кормить “товарищей”, которые никогда, вообще никогда не слушали музыку, не любовались цветами, не заглядывались на хорошеньких женщин.

— Конечно, я все сделаю, как ты скажешь, Арман… Но нельзя ли разок, один-единственный раз!.. взять деньги себе, а? Чтобы поехать в путешествие, посмотреть мир, пожить вдвоем в любви и счастье? Почему ты всегда должен все отдавать друзьям? Эти твои друзья совершенно никчемные! Только и знают, что треплют языком да выбрасывают деньги на ветер. Как этот идиот Ковальский. Взорвал свою мать — вот и все, что он сумел сделать. Смешно!

— Он хотел сделать благое дело. Это просто

несчастный случай, такое с каждым может случиться.

— Милый, я не против ограбить старину Дики, но давай хоть часть денег оставим себе! Мне так хочется побывать в разных странах! В Индии, в Турции… Съездим всего на годик, Арман! А потом вернемся и переделаем мир. Но прежде посмотреть бы на него, пока он еще так хорош.

Арман изумленно взглянул на нее: прелестная, элегантная, уверенная в себе молодая женщина идет по цветочному лугу, поигрывая омбрелькой. Ничего общего с испуганной замухрышкой, которую он подобрал на улице каких-нибудь полтора года назад. Он остановился среди доходящих ему до колена нарциссов:

— Послушай…

Аннетта обернулась и увидела суровое, почти враждебное выражение его лица. Он смотрел на нее исподлобья, с еле скрытым негодованием. Она схватила его за руку:

— Прости, Арман! Я сделаю все, что ты захочешь. Я взбалмошная, я ошалела от счастья и болтаю невесть что. Ну и потом, я целыми днями общаюсь с Дики, а он насмехается над всем на свете, так что я иногда перестаю соображать, что к чему. Но одно знаю твердо: я люблю тебя, как

ни одна женщина никогда не любила.

Арман до боли сжал ее руку в своей:

— Послушай, Аннетта! В тебе есть вполне объяснимая черствость: ты так настрадалась с детства, что всякое страдание тебе противно, ты и слышать о нем не хочешь. Ты нахлебалась горя и чураешься не только беды, но и бедняков. Это известная защитная реакция, точно так же ожесточилась и зачерствела буржуазия, которая в конечном счете вышла из народа. Но есть кое-что, чего я не понимаю. Ты говоришь, что любишь меня. Но как можно кого-то любить, если не любишь его таким, как он есть? Как ты можешь любить меня и одновременно требовать, чтобы я полностью изменился, стал другим человеком? Если я откажусь от призвания революционера, от меня ничего не останется. Не можешь же ты требовать, чтобы я отказался от самого себя и в то же время оставался тем, кого ты любишь. Поверь, мне нелегко. Нелегко быть Арманом Дени. Это очень опасно. Иногда утром я просыпаюсь и удивляюсь, что еще жив. Ты должна бы придавать мне сил, а не пытаться поколебать мою волю и мои убеждения. Ты должна бы… — Он замолчал, увидев слезы у нее на глазах, и продолжил уже мягче: — Я только хочу сказать: если бы люди

поддавались чему-то самому что ни на есть человечному, они давно перестали бы быть людьми.

Глава VIII

Придя к Глендейлу через два дня, Аннетта с досадой обнаружила, что коллекция золотых скарабеев исчезла. Нахмурив брови, она сухо спросила, куда они подевались. Дики с самым невинным видом взглянул на пустую витрину.

— А! Просто я на время положил их в сейф в моем банке, — объяснил он. — В последнее время тут в округе участились кражи, а мне бы не хотелось потерять эти редкостные вещицы. Случись такое, новые обладатели будут способны, прости господи, переплавить их в золотые слитки.

Аннетта изо всех сил старалась сделать безразличный вид, но у нее возникло крайне неприятное чувство, что Дики о чем-то догадывается. Это было очень-очень горько. К ее досаде примешивалось возмущение: как мог он ее заподозрить! Как некрасиво с его стороны! Аннетта дулась целую неделю. А Глендейл оставался все таким же услужливым и стремился быть рядом с ней. Он предложил научить ее английскому языку, дело быстро пошло на лад, и вскоре она уже довольно бегло изъяснялась на этом языке, хотя и сохра-

нила навсегда сильный парижский акцент. Их всюду видели вдвоем: в концертах, на балах и загородных приемах, на длительных прогулках под парусом или в карете по окрестностям города.

Как раз после одной такой прогулки Аннетта забежала в церковь, чтобы горячо помолиться и поставить свечку, из-за чего едва не опоздала на убийство Михаила Болгарского. На другой день она снова увиделась с Дики во время партии в крокет у русского посла графа Родендорфа, где, естественно, это убийство служило главной темой разговоров. Все были в ужасе. Швейцарские власти, обеспокоенные тем, что разгул терроризма нанесет ущерб туристической индустрии страны, взяли под строгий контроль всех политических эмигрантов, так что положение Армана и его соратников изрядно осложнилось. Со своей стороны, французское правительство, недовольное размахом, какой принимают действия анархистов — не прошло и недели после взрыва на бульваре Сен-Жермен в доме советника Бенуа, как 18 марта 1891 года последовал новый, в казарме Лобо, — решительно взялось за искоренение главных экстремистских сетей в Париже. Были арестованы и переданы в руки правосудия Шомартен, Беала, Симон и сам Равашоль,

правая рука Альфонса Лекёра. Главари “Черного Интернационала” (так окрестили его журналисты) собрались в Базеле, и Арман снова добился, чтобы была одобрена его точка зрения: никаких пауз, напротив, усиление террора, особенно в Париже, с целью, во-первых, устрашить и оказать давление на коллегию присяжных, которые будут судить их арестованных товарищей, а во-вторых, доказать всему обществу, что анархисты продолжают действовать и полиция бессильна против них. По предложению русского Беляева, было также решено покинуть на некоторое время Швейцарию и перенести штаб-квартиру Комитета освобождения в Италию. Однако на все это требовались деньги, а их у летучих групп совсем не осталось — налет на брюссельский филиал банка “Креди фонсье” закончился сокрушительным провалом и арестом Кобелева. Вернувшись из Базеля, Арман сказал Аннетте, что намерен ограбить виллу графа Родендорфа, которую она давно взяла на заметку.

Русский посол, неповоротливый, как медведь, но отличавшийся веселым нравом, проигрывал чудовищные суммы в карты, что не мешало ему жить на широкую ногу и закатывать званые ужины на сто персон, сервированные золотой

посудой. Он был без памяти влюблен в молодую графиню де Камоэнс, делал ей предложение, а когда она отказала, рыдал у ее ног и грозился пустить себе пулю в лоб — по этому поводу лорд Глендейл сказал, что то была бы “лучшая услуга, какую он мог оказать своей стране”. План был такой: пока Аннетта отправится со своим поклонником в балет, Арман, Альфонс Лекёр и жокей заберутся на виллу. К несчастью, в тот день посол объелся, ему стало плохо в ложе в самом начале спектакля, и друзья повезли его домой. А Аннетта, дрожа от страха, поехала к себе в отель. По дороге Родендорф почувствовал себя лучше и хотел было вернуться в театр. Но друзья, русский генерал Добринский и атташе немецкого посольства, отговорили его и довезли до виллы.

Там они увидели настежь открытые двери и связанных слуг с кляпами во рту; посреди вестибюля стоял внушительного вида господин с сигарой в зубах и пистолетом в руке, тогда как жокей рассовывал по мешкам золотую посуду. Арман в это время был на втором этаже и, приставив револьвер к виску секретаря, требовал, чтобы тот открыл сейф. Лекёр, разозленный несвоевременным вторжением хозяина дома, мгновенно выстрелил в него и ранил в руку. Арман бросился

вниз по лестнице, и всем троим удалось благополучно улизнуть под густые проклятия русского посла, но полиция получила и разослала повсюду словесные портреты грабителей, посол пообещал награду в десять тысяч золотых франков каждому, кто поспособствует их поимке, а сыщики, возмущенные таким вероломным ответом на швейцарское гостеприимство, активизировали всех своих информаторов, так что преступную троицу обложили со всех сторон. При попытке ускользнуть их бы мгновенно опознали, уж слишком они были приметны: красавец Арман, которого журналисты называли не иначе как “черным ангелом” или “светлым демоном”, верзила Лекёр и рядом с ним коротышка жокей, поэтому все трое прятались в мастерской папаши Ланюсса, почтенного часовщика из отеля “Берг”, вид у него был самый мирный: пышные седые усы и трубка, знакомые завсегдатаям кофеен на берегах Женевского озера, однако же спустя полгода при аресте у него нашли запас бомб, достаточный, чтобы поднять на воздух целый квартал. Полиция нагрянула с обыском в жилище Армана в старом городе и застала там компанию русских, жарко спорящих вокруг самовара, среди набитых анархистской литературой чемоданов.

Арест Армана Дени и его сообщников казался делом нескольких часов.

На помощь им пришла Аннетта.

Глава IX

Ночь никак не кончалась. Аннетта сидела в своей спальне с окнами на озеро и прислушивалась к каждому звуку: не раздадутся ли шаги на улице, не проедет ли фиакр, не пристанет ли к берегу рыбачья лодка. Она знала, что Арман в смертельной опасности и не сдастся без ожесточенного сопротивления, но знала также, что он жив и невредим, — просто чувствовала это физически, всей своей плотью, как будто их тела были чем-то единым.

Наконец в девять утра в дверь постучала горничная и сказала, что ее хочет видеть какой-то часовщик.

Аннетта выслушала рассказ Ланюсса, нервно расхаживая по гостиной и бормоча сквозь зубы крепкие ругательства, явно оскорблявшие слух старого идеалиста, привыкшего к благородным мыслям и возвышенным речам. Аннетта преисполнилась решимости, в ней пробудился вкус к борьбе и несгибаемая воля, которой ничто не могло помешать достичь желаемого. Тогда она впервые поняла двойственную природу чувства,

которое с непреодолимой силой влекло ее к Арману: с одной стороны, почти материнская нежность, потребность отдавать всю себя, а с другой — потребность безраздельно владеть им; это был эгоизм, деспотичный и грубый, но в то же время готовый подчиняться и идти на любые жертвы; то была слабость, но именно в ней она черпала неукротимую силу и энергию. Помочь ей мог один-единственный человек, но, чтобы добиться успеха в этой дерзкой затее, требовалась величайшая осмотрительность, ловкость и тонкий расчет; надо было искусно сыграть роль, суметь растрогать, соблазнить и развеселить. Сделать ложь привлекательной, выдать страсть за каприз, выдержать тон непринужденного превосходства, который заставляет саму жизнь дрессированным пуделем бежать за вами в бальную залу. Словом, ей предстоял настоящий экзамен по светским навыкам. Полчаса спустя она входила на виллу лорда Глендейла.

Он завтракал на террасе, разделяя трапезу с сидевшим у него на плече туканом. Это была черная птица с чудовищным ярко-желтым клювом, равным по величине всему остальному телу. Дики привез его из Южной Америки, и они отлично поладили. Лежавший на столе золотой с брилли-

антами портсигар пропел баварскую мелодию, когда лорд Глендейл открыл его, чтобы предложить гостье сигарету. В резком утреннем свете Дики выглядел совсем старым и седым. Лицо его было непроницаемым, как у восточного мудреца, в уголках губ Аннетта углядела малюсенькие складки, которые могли сойти за улыбку. На нем был шелковый узорчатый халат и домашние туфли. Сколько же ему лет? — подумала вдруг Аннетта. Она села, закурила и дождалась, когда уйдут слуги.

— Дики, со мной произошло что-то ужасное.

— Ну-ну, должно быть, ужас в том, что вы влюбились. Известно же: когда такое случается, это всегда несчастный случай.

— Несчастней некуда!

— Что ж, поздравляю, дорогая. Любовь — штука приятная. Могу я быть вам чем-то полезен?

— О, Дики, вы себе не представляете, как все это страшно!

— Да кто же он? Какой-нибудь кучер? Рыбак? Слуга? Или, не дай бог, поэт?

И Аннетта принялась рассказывать ему историю. Правдивую ровно настолько, чтобы сделать правдоподобной ложь. Она вполне доверяла Дики, но кое-какие сомнения у нее оставались,

как оставалась капля стыда за свое прошлое. Она была еще не столь великосветской дамой, чтобы позволить себе роскошь признаться, что когда-то была уличной девкой. Этот номер она тщательно подготовила и отлично исполнила, ничем не выдав свое волнение. Дики, казалось, принял все за чистую монету. Только тукан смущал рассказчицу. Он все время смотрел на нее, саркастически склонив голову набок — того гляди, усмехнется.

Однажды вечером она расчесывала волосы перед сном и вдруг заметила, что красная бархатная штора как-то странно шевелится, хотя окно закрыто. Она уже потянулась к звонку, чтобы вызвать горничную, но что-то, какое-то интуитивное чувство ее остановило. Она встала, подошла к шторе и…

— Никогда и ни у кого я не встречала такой мужественной красоты, такого благородного лица, такого гордого взора. Он стоял там в белой рубашке, с пистолетом в руке… невероятно романтичный! Похожий на портрет лорда Байрона, что висит у вас в библиотеке. У меня замерло сердце. Я сразу поняла: это не может быть обычный вор. У человека с таким чистым, бледным челом могут быть только высокие, благородные помыслы.

Глендейл, старательно намазывавший масло на тост, легонько дернулся.

— Странное дело, — сказал он с оттенком раздражения в голосе, — каждый раз, когда женщина ощущает физическую тягу к мужчине, она уверяет, что прельстилась его душой или, выражаясь более современно, его интеллектом. Даже если, как в вашем случае, он не успел еще произнести ни слова, умного или не очень, и уж тем более проявить красоту своей души. Путать физическую тягу с возвышенной любовью — все равно что путать политику с идеалами, — то и другое очень дурно. Ну ладно, что же было потом? Я не имею в виду того очевидного, что, несомненно, произошло между вами и, разумеется, доставило вам немалое удовольствие.

— Пожалуйста, не будьте циником, Дики! Ненавижу цинизм. Я перевязала его раны. Да, забыла сказать: он был ранен.

— Думаю, не слишком тяжело, — предположил Глендейл. — Но достаточно, чтобы придать ему неотразимость.

— Несколько дней я прятала его у себя. Мы безумно влюбились друг в друга. Потом он ушел, и я не видела его с неделю. А теперь… боюсь, он снова совершил какую-то глупость.

— Например, ограбил этого кретина Родендорфа.

— Откуда вы знаете?

— В газетах пишут.

— Дики, я хочу спасти его.

— А что вообще вы о нем знаете? Кроме того, что он хорош собой.

— Думаю, он, к сожалению, анархист.

— В самом деле?

— И, думаю, очень известный. Его зовут Арман Дени. Вы что-нибудь слышали о нем?

В первый раз с начала разговора Глендейл хоть сколько-то удивился и даже оживился:

— Еще бы! Это знаменитый романтический поэт.

— Да нет же, Дики, он вовсе не поэт! Это человек действия, преобразователь общества. Он борется за справедливость, свободу… и все такое — для всего человечества.

— Вот я и говорю: романтический поэт, — повторил Глендейл. — Нет ничего более плачевного, чем эти обломки романтической эпохи, которые прошлое продолжает выбрасывать на наш берег, тогда как мы уже на пороге XX века. Мой друг Карл Маркс как-то раз прекрасно описал мне учеников Кропоткина и Бакунина: “Рыцари аб-

солюта, принимающие свое благородство и свое обостренное человеколюбие за социологическую теорию. К общественным вопросам они подходят с такими тонкими чувствами, с таким великодушием, с такой душевной щедростью, какие более сродни поэтическому вдохновению, чем научному исследованию. Человечество для них все равно что замысел картины для художника, и они задаются целью создать из него шедевр. Они бросают бомбы, как Виктор Гюго метал поэтические молнии, но с меньшим успехом". Это, однако, не значит, что ваш избранник — плохой любовник, скорее как раз наоборот.

Аннетта подняла на него умоляющий взор:

— Но что мне делать, Дики? Как помочь ему? Вся швейцарская полиция охотится на него.

— Очень, очень романтично, — вздохнул Глендейл, допивая кофе. — То есть в той мере, в какой что-либо может быть романтичным здесь, в Швейцарии. Но почему бы вам с вашим трубадуром не отправиться на время в Италию, а там, глядишь, и пройдет ваше наваждение? А может быть, как знать, он образумится и, сжимая вас в объятиях, поймет, что, кроме бомб, есть и другие способы обрести земной рай. Но между прочим, — продолжил он, намазывая новый

тост, — вы-то сами кто такая, Аннетта?

Аннетта широко раскрыла невинные глаза:

— Что вы хотите сказать? Я графиня де Камоэнс.

— Полноте, никакого графа де Камоэнса никогда не было на свете, — ответил Глендейл несколько утомленным тоном. — Ну да ладно. Я посмотрю, что можно сделать. Только хотелось бы встретиться с вашим молодым человеком. Сам я бомб не бросал, но тоже немало сделал. И, откровенно говоря, мой образ жизни причинил английской аристократии и, выражаясь языком вашего друга, "растленным правящим классам" больше вреда, чем все теракты последних лет, вместе взятые. Я, пожалуй, устрою вам с ним небольшое романтическое путешествие в Италию. Затея обещает быть любопытной. То-то весело будет рассказать принцу Уэльскому, как я переправил через швейцарскую границу опасного анархиста. Надеюсь, это дойдет до ушей нашей драгоценной государыни. Давно пора мне что-нибудь такое учудить для поддержания репутации. А то подумают, что я старею.

Бегство Армана и его приспешников прошло с такой легкостью и комфортом, о каких преступная банда, за которой охотится полиция трех

стран, не могла и мечтать. Они пересекли границу с шиком — в личном поезде Глендейла, любуясь швейцарскими пейзажами из окна вагона с герцогской короной и атакующим леопардом на желтом фоне — таким гербом этот род обзавелся со времен Третьего крестового похода, в котором, впрочем, никто из его представителей участия не принимал. Федеральные власти пропускали их без звука и тщательно обыскивали поезд — после недавних покушений террористов Швейцария решила не пренебрегать никакими мелочами, чтобы обеспечивать безопасность знатных гостей. Им было сказано, что герцог везет своих лошадей на скачки с препятствиями в Милан. К составу был прицеплен вагон-конюшня, солидной комплекции тренер в добротном кирпичного цвета клетчатом костюме и с ним жокей с седлом под мышкой степенно заняли в нем свои места под почтительными взглядами полицейских. Глендейл и Саппер едва не обнялись — оба знали наперечет былых лошадей-победительниц.

Арман Дени, одетый с иголочки, зашел в поезд под руку с Аннеттой. Швейцарцы еще раз проверили весь состав, над которым весело трепыхались “Юнион Джек” и флаг Швейцарской Конфедерации, но никаких спрятанных бомб не

обнаружили. Поезд тронулся. И с той минуты до самого конца путешествия старый анархист и молодой аристократ — так выразился сам Глендейл — вели беседу, сидя друг напротив друга, попивая шампанское и угощаясь тартинками с черной икрой, пока шеф-повар колдовал над жареными фазанами и *roastbeaf*, а Аннетта, хотя она не столько слушала Армана, сколько глядела на него, была горда и счастлива тем, что ее возлюбленный показывает себя во всем блеске и не уступает такому сильному противнику. В этой словесной дуэли он демонстрировал недюжинное мастерство, проворство и меткость, и Аннетта с сожалением думала, что судьба к нему несправедлива и что ему бы надо уродиться по меньшей мере эрцгерцогом.

— На мой взгляд, — говорил Глендейл, — ваша позиция, месье, не вполне логична. Идея разрушить государство, нападая на его отдельных представителей, кажется мне оторванной от реальности. Вы переоцениваете роль личности, любой, будь то король или скромный президент республики. Впрочем, сдается мне, что вы бросаете свои бомбы исключительно ради самовыражения, вероятно не находя для этого, за неимением таланта, иных способов. Скажи вы

мне, что взрывы мостов или парламентов забавляют, развлекают вас, я мог бы это понять, как понимаю рыболовов, часами просиживающих с удочкой в руках на берегу реки, хотя не разделяю их удовольствия и терпеть не могу рыбную ловлю.

Арман качал головой и с изысканной учтивостью возражал:

— В числе моих пороков, месье, нет любви к искусству ради искусства. Убивая глав государств, заставляя беситься полицию, запугивая правящие классы, мы преследуем чисто практическую и конкретную цель: хотим вынудить их прибегать к все более и более свирепым мерам для защиты так называемого порядка. Им придется отменить все те иллюзорные свободы, которые теперь они еще могут себе позволить, тогда жизнь угнетенных масс станет совсем невыносимой и они наконец взбунтуются против капиталистического строя. Наша цель — заставить власть максимально сжать тиски и таким образом вызвать народное восстание, которое их сметет. Наша жестокость должна спровоцировать жестокую реакцию. Реакция — лучший союзник революции. В ответ на наши террористические акты вспыхнет еще больший и более слепой тер-

рор. И когда у всего народа не останется больше ни капли свободы, он присоединится к нам.

— Вы плохо думаете о народе, месье, — с сожалением говорил Глендейл. — Я же, пусть мне и положено быть упадочным аристократом — что ж, всех нас рано или поздно ждет упадок, — придерживаюсь куда более высокого мнения о народных массах. Их не гонят на бунт, как скот на убой, подталкивая раскаленными пиками. А революция — явление не только экономического или политического плана, но еще и культурного. Вот уже целое поколение наблюдает мой роскошный образ жизни, который я намеренно выставляю напоказ, и недалек час, когда у того самого народа естественным образом возникнет желание заполучить те же блага, какими наслаждаюсь я, или же, на худой конец, отнять их у меня. Так что у меня своя роль в развитии революции, и вы напрасно недооцениваете ее важность. Я превосходный подстрекатель и выполняю, быть может, скромную, но необходимую функцию на благо прогресса. Добавлю, что когда массы дозреют до того, чтобы воспользоваться всем тем, что может им дать жизнь и искусство, я исчезну с приятным чувством выполненного исторического долга. Ничто не доставит мне

большего удовольствия, чем вид миллионов моих последователей — прожигателей жизни. Да, я люблю удовольствие. А самая большая радость для истинного гедониста — это приумножение единоверцев. Настоящий, подлинный прожигатель может даже обходиться без удовольствий как таковых и вести аскетический образ жизни, при условии, что ему будет дозволено упиваться зрелищем чужих услад. Он превращается тогда в вуайериста, но в самом высоком, буддистском смысле слова. По сути, именно это на Востоке и называется отрешенным созерцанием. Сам Будда достиг той точки, когда ему мало собственного удовольствия и нужно чувствовать себя погруженным в блаженство всего, что дышит. Когда мы уверимся, что наше блаженство переживет нас, смерть станет всего лишь отрадным растворением в мировом счастье.

— Месье, — поморщившись, отвечал ему Арман, — парадокс — это классическое прибежище тех, кто желает спутать карты, напустить туману и всех одурачить ради того, чтобы оправдать свое существование; тех, кто хочет ослепить вас искусной игрой кривых зеркал, поскольку сознает собственное уродство. Это жалкая попытка запутать след и ускользнуть от истины, которая

преследует, теснит их со всех сторон и вот-вот накроет.

Аннетта веселилась от души и едва удерживалась, чтобы не зааплодировать. Она сама не знала, что нравится ей больше: фуа-гра, особый поезд, похожий на восхитительную игрушку, невероятная дерзость и красота Армана или тонкий иронический ум старого, умудренного опытом, безмятежного гедониста, на чьем морщинистом лице витала неизменная улыбка, напоминающая статуи древнейших времен.

Глава X

В следующие несколько месяцев, пока Арман отсиживался в своем логове в Милане, Глендейл с легкостью кудесника открыл Аннетте античный мир, о существовании которого она не подозревала. Это было ее первое посещение Италии, она ждала многого, но к такому потрясающему открытию не была готова. От перевозбуждения она даже заболела и несколько дней лежала в постели и смотрела из открытого окна, как небо над изумрудным городом меняет цвет от розовой зари до шафранового заката. Пришедший доктор проницательно установил диагноз и велел заслонить шторами вид на Сан-Джорджо-Маджоре, а также прописал несколько капель валерьянки. В римском Колизее, ступая по арене, где львы терзали первых христиан, она явственно увидела в роли мученика своего Армана и так истово разрыдалась, что случившийся тут же добрый священник, тронутый ее горячей верой, подошел и дал ей свое благословение. Стоя в том месте, откуда Нерон с лирой в руках любовался пылающим у его ног Римом — во всяком случае, так заверял

ее чичероне, подтверждая свои слова дипломом профессионального гида, — задумалась, что выбрал бы ее Арман: лиру поэта или факел поджигателя, и решила, что к его внешности больше подходит факел. Проезжая в фаэтоне по Аппиевой дороге, откинувшись на мягкие подушки и бодро поигрывая зонтиком, она под мерный стук копыт представила себе Армана, марширующего под имперским орлом во главе своих легионов, тут же спохватилась, что ей самой нечего надеть по такому случаю, и помчалась к Липпи заказывать новое платье. Вернувшись в Венецию, она скользила по Гранд-каналу в гондоле Дики, заходила в розовые венецианские церкви, до того веселые, легкие и даже легкомысленные, что она невольно преклоняла там колени; потом были новые открытия: Флоренция, Пиза, Болонья и Падуя; она наполняла свой взор лучезарными красками Джотто; слушала музыку Верди из ложи в Ла-Скала и быстро пришла к выводу, что наконец нашла свой мир, свое место, свою судьбу и никогда уже не сможет жить иначе. Глендейл внимательно и ласково следил за этими переменами; план его мало-помалу принимал ясные очертания, и можно было надеяться, что ему удастся осуществить экзорцизм.

— У вас редкий по нашим временам талант радоваться жизни. Следует развивать его, и я буду счастлив помочь вам в этом.

Однако, даже имея в союзниках всю Италию, Глендейл чувствовал, что ведет битву, обреченную на поражение; какими бы красотами ни окружал он Аннетту, ему не удастся заставить ее забыть главное: она твердо знала, что из всех щедрых даров, которыми осыпала ее жизнь, ей по-настоящему дорог только один. Глендейлу, конечно же, было известно, куда, в какие темные миланские трущобы и зачем она отправится сразу после того, как он проводит ее из Оперы до гостиницы и смиренно поцелует руку на прощание.

— Хотите, я оставлю вам свою карету?

— Нет, милый Дики, я возьму фиакр. Это не так заметно.

Он подзывал фиакр, помогал Аннетте в него сесть, и она, трепеща от нетерпения и подгоняя кучера, мчалась в убежище Армана в конце зловонного коридора в обшарпанном доме на Виа Пердита.

— И сколько же денег ты сегодня вытянула из нашего благородного покровителя? — насмешливо спрашивал он.

Но ее не обманывал этот напускной цинизм, она понимала, что он страдает без нее и мучится мыслью о ее тесной близости с Глендейлом. Во время вынужденного безделья, когда его повсюду разыскивала полиция, он целиком и полностью зависел от нее, а ей прикрытая бравадой ревность была приятна, хотя она не подавала виду. Никогда прежде он так не нуждался в ней, не принадлежал ей безраздельно, и она наслаждалась этим обладанием. Он крепко, грубо прижимал ее к себе, то была грубость от избытка нежности; шептал ей бранные слова, которые она заглушала поцелуями, а во взгляде его, полном отчаяния, читалось признание, которое никакие насмешки, никакие циничные речи не могли замаскировать. Она торжествовала: Свобода, Равенство и Братство разжимали хватку и выпускали Армана на волю. Глас человечества звучал где-то на заднем плане, как охотничий рог в отдаленном лесу, и не мог проникнуть сквозь толстые стены. Она нужна Арману — все остальное не имело значения. Она склонялась над ним, ее распущенные волосы струились по обнаженной груди, ниспадали ему на лицо, никаких больше забот и тревог, ей было так легко, хорошо, и она была так уверена, что теперь он всегда будет только с

ней, что с губ ее сорвалась парижская уличная песенка, которую она слышала в детстве, и эти простенькие нехитрые слова захватывали душу больше, чем высокопарные воззвания.

Навек ты мой, а я твоя,
Любовь моя,
Любовь моя,
Мне без тебя не жить ни дня,
Любовь моя,
Любовь моя.

Поэт-лауреат недоуменно поднял голову — леди Л. пела. Остановилась под веткой цветущей сирени и пела по-французски необыкновенно задорным, молодым голосом, который совершенно не вязался с ее седыми волосами. Потому что голос так и не состарился, и это создавало некоторую неловкость. Песенка замерла на ее устах, и хотя она по-прежнему улыбалась, глаза налились слезами; она задумчиво поглаживала ветку сирени, а сэр Перси отвел взгляд, опустил голову и принялся кончиком трости чертить на тропинке квадратики.

Однажды вечером, когда Аннетта пришла в обитель Армана с корзинкой снеди — там было

заливное из фазана, виноград и бутылка вина, — она застала там Альфонса Лекёра и жокея; оба сидели на кровати и слушали метавшегося по комнате Армана. Он рассеянно кивнул Аннетте, и ей не понадобилось слушать, что он там говорит, чтобы понять: наваждение вернулось. Лекёр вроде бы не изменился: все такой же мрачный наглый бугай, но у него уже была тогда последняя стадия известной болезни, что выдавали только расширенные зрачки на кирпичного цвета физиономии. Он сидел с осоловевшим видом, и Саппер, грустно посмотрев на Аннетту, показал ей глазами на его сигарету: Лекёр, положившись на свою богатырскую комплекцию, давным-давно забросил лечение ртутью. В комнате был еще один человек: щуплый плешивый итальянец, все время возбужденно и радостно потиравший руки, как будто собирался удачно провернуть какое-то дельце. Они обсуждали план убийства итальянского короля Умберто в театре, на премьере оперы Верди. Аннетта уронила корзинку, залилась слезами и убежала прочь. Дальше все пошло по накатанной колее: ей снова пришлось расстаться со своими драгоценностями, и все деньги — меньше трети настоящей стоимости — пошли на подготовку акции. Для странных

отношений, связывавших Аннетту, Глендейла и Армана, весьма характерна история с подаренными ей Дики серьгами. Бриллианты в них были маленькие, но чистой воды и изумительной огранки, настоящий шедевр амстердамских мастеров; каждый вечер, вынимая серьги из ушей, Аннетта держала их в ладони как пару юрких живых зверьков. Когда Арман потребовал, она только вздохнула, но безропотно сняла их и протянула ему; в тот же день они были проданы в ювелирный салон “Галлиера”. На следующий день за ужином, едва взглянув на Аннетту, Глендейл довольно резко спросил, кому продали бриллианты. Он тотчас выкупил их и вернул ей. Очень скоро серьги снова попали в руки анархистской ячейки, затем перекочевали в “Галлиеру”, откуда Глендейл, отчитав Аннетту, опять их выкупил, на этот раз с видимой досадой. Леди Л. часто смеялась, вспоминая, как серьги трижды выкупались у ошеломленного ювелира и как она, несмотря на клятвенные заверения, которые каждый раз с честным видом давала Дики, снова вручала бриллианты Арману.

В конце концов Глендейл потерял терпение. Он закатил Аннетте сцену и, оставив ее в слезах, сел в свою черную с желтым карету, известную всему

Милану, и поехал в новое убежище заговорщиков, которое постоянно охраняли его люди, — он боялся, как бы полиция не нагрянула туда, когда прекрасная графиня де Камоэнс явится на свидание со своим преступным любовником, а подобный скандал разрушил бы его планы. Он старательно оберегал этого террориста, но в нем копилась злоба, и даже чувство юмора уже не могло унять ее. Появление лорда в роскошной черной шубе и двух ливрейных лакеев в цилиндрах на пороге подпольной типографии было весьма эффектным: Арман в это время работал с печатным станком, а Маротти дописывал один из тех памфлетов, какими анархисты наводнили Южную Италию. Глендейл спустился по мраморным ступеням, бросил испепеляющий взгляд на честную компанию, подошел к Арману и, достав из кармана бумажник, спросил:

— Сколько всего вам требуется денег на организацию убийства Умберто? Я готов оплатить все расходы, но настоятельно прошу вас оставить в покое ее серьги. Она их любит. Если угодно, пусть это будет вашим подарком ей.

В итоге бомба была подложена в королевскую ложу, но взрывной механизм не сработал, так что Умберто пришлось ждать нового, удачного

покушения аж до 1900 года. Аннетта между тем прониклась некоторой симпатией к королевским особам и жалела, что их осталось так мало. Она, конечно, понимала, что время от времени необходимо кого-нибудь из них ликвидировать, чтобы остальные вели себя как следует и не зарывались, но ей ужасно нравилось сопутствующее им великолепие: торжественная музыка, золото и пурпур, плюмажи и сабли наголо, тиары и поклоны — на это никаких денег не жалко. В ней еще слишком много оставалось от уличной девчонки, чтобы не прельщаться красиво обставленной королевской роскошью. Она любила конные эскорты, генералов в парадных мундирах, кардиналов на церковной паперти — к красным кардинальским рясам она питала особую слабость и вообще находила, что духовенство умеет хорошо одеваться. В мире не хватает лоска, ярких цветов, изысканных костюмов, и короли нужны, чтобы радовать глаз. Просто надо не давать им управлять. Впрочем, она бы не сильно опечалилась, если бы все монархи кончили свои дни на гильотине, лишь бы их отводили туда с шиком и блеском.

С другой стороны, террористская жилка достаточно окрепла в ней, чтобы решиться многое обратить в пыль, с легкой насмешкой и без кро-

вопролития.

Первый раз она попыталась освободиться от ига вскоре после случая с серьгами и незадолго до отъезда с Дики на карнавал в Венецию. Имя Армана Дени в то время стояло во главе полицейских разыскных списков, и любовникам надо было соблюдать величайшие предосторожности. Однажды после бала у принцессы Монтанези Аннетта встречалась с Арманом в закрытой карете и заметила, что он смотрит на нее с мрачным презрением. Она не успела переодеться, и в свете газовых фонарей у нее на шее, в ушах и на пальцах искрились изумруды и бриллианты, которыми лорд Глендейл снабдил ее на этот вечер.

— Должна же я играть свою роль, Арман, — робко сказала она.

— Так или иначе, эта наглая роскошь — прямое оскорбление всех тех, кто умирает от голода во всем мире.

Они молча ехали по миланским улицам. И вдруг Арман крикнул кучеру ехать в квартал, где Аннетта никогда раньше не бывала. Оба по-прежнему сидели молча, как чужие. Аннетта была в отчаянии: ничего в жизни она не боялась так сильно, как боялась потерять Армана. На одной из темных узких улочек Арман велел остановить

карету. Они вышли. Лунный свет падал на грубые булыжники мостовой и грязные лужи. Пахло гнилью и помоями. Нигде ни души. Только старая нищенка сидела на тротуаре, прислонившись к стене. Она увидела их и тут же протянула руку. Арман, не говоря ни слова, сорвал с Аннетты серьги, колье, браслеты и перстни. Потом нагнулся к застывшей нищенке и бережно, чтобы не сказать ласково, вдел серьги ей в уши, застегнул на тощей шее колье и ухитрился втиснуть ее корявые пальцы и руки в перстни и браслеты. Затем, держа ее за плечо, проговорил с доброй улыбкой:

— Возьми. — Леди Л. никогда не забудет, как проникновенно звучал его голос. — Возьми, это принадлежит тебе по праву.

Отягощенные золотом и драгоценными камнями руки старухи повисли как плети. На несколько мгновений она задержала на Армане пустой взгляд. И уронила голову.

Что-то в ее позе насторожило Аннетту. Она тоже нагнулась. Глаза старухи были открыты, но мертвы, несчастная испустила дух от наплыва чувств. Аннетта закричала и убежала, захлебываясь рыданиями.

На следующий день миланские газеты трубили о “величайшей тайне века”: ночью в городе на-

шли труп старой побирушки с бесценным колье на шее, бриллиантами по двенадцать карат в ушах, золотым скарабеем, приколотым на лохмотья, и золотыми браслетами с изумрудами на окоченевших запястьях.

Адвокатам Глендейла понадобилось два года, чтобы вернуть драгоценности, которые якобы украли у их клиента из шкатулки в гостинице. Выдвигались различные версии, но имя Аннетты ни разу не всплыло ни в прессе, ни в судебном разбирательстве. Это происшествие послужило итальянскому писателю Ардитти поводом для написания одного из самых известных его романов.

Аннетта до утра проплакала в своей спальне. У нее начался жар, и она слегла. Впервые за все время знакомства с Арманом она испугалась его. Она чувствовала себя презренной, униженной, отвергнутой; все, что оставалось в ней непокорного, яростного, страстного, вся ее оскорбленная женская гордость толкали ее сделать тот самый шаг, что отделяет любовь от ненависти; ирония уже не помогала, все потеряло смысл: поддельный смех, напускная небрежность — ничего не спасало; ее захватила буря эмоций, детское желание отомстить и победить смешивалось с

безысходной тоской и болью, какую не унять слезами. Немного оправившись, она села на поезд и поехала на озеро Комо искать прибежище и утешение у единственного человека, который полностью понимал и принимал ее.

— Дики, я больше так не могу! Не могу. Я больше не могу и… не хочу!

Глендейл ласково прижал голову рыдающей Аннетты к своему плечу. Огромным усилием воли он сдержал ликование и сохранил бесстрастное выражение на лице с восточным оттенком и в узких, малоподвижных глазах. Но обрадовался так, будто ему удалось похитить “Джоконду” из Лувра.

— Пожалуйста, Дики, помогите. Он меня уничтожит, а я… я так его люблю!

— Успокойтесь. Вы оба — страстные натуры и не способны придерживаться умеренной зоны, а только так у людей есть хоть какой-то шанс продлить свое счастье. У него буйство духовное, он одержим идеями, у вас — сердечное, вы одержимы чувствами. И это очень плохо! Безумные страсти, как и безумные идеи, всегда превращают мир в дикие джунгли. Вспомните строки Уильяма Блейка: *Tiger, tiger burning bright, in the forests of the*

night[28]. Самый лучший и самый точный образ страсти, какой я знаю.

— Но что же делать, Дики, что мне делать?

— Да это же очень просто, дитя мое! Перестаньте видеться с ним. А для начала, чтобы вы не так мучились, мы можем уехать на полгода в Турцию. Весна на Босфоре целительна.

— Нет, это не поможет. Турция недостаточно далеко. Я все равно примчусь к нему и брошусь в его объятия. Я жить без него не могу. Боже мой, Дики, что со мной будет?!

Глендейл сделал вид, что задумался, и, помедлив, сказал:

— Что ж, я вижу только одно средство. Раз вы пылаете к нему такой безудержной страстью, то и выбора нет. Нужно сделать так, чтобы у вас не было физической возможности видеть его. Поначалу это может быть очень болезненно, но через год или два жизнь возьмет свое, и, я уверен, мы преодолеем эту напасть.

— Да говорю же, даже Китай недостаточно далеко, уж я себя знаю.

— Это не совсем то, что я имею в виду, — вкрадчиво сказал Глендейл. — Мне кажется,

---

[28] Примечания: 28

“Тигр, о тигр, светло горящий / В глубине полночной чащи” *(англ.).* Перевод С. Маршака.

единственное, что сможет отгородить вас, — это толстые стены и бдительный надзор, чтобы Арман никак не мог до вас добраться.

— Что вы хотите сказать? Не могу же я всю жизнь провести в заточении.

— Нет-нет, дитя мое. Не вы, а он. И это очень легко устроить. Мы запросто можем запереть Армана в какой-нибудь надежной тюрьме, у итальянцев есть такие, они унаследовали их от австрийцев и добросовестно содержат.

Аннетта с ужасом посмотрела на него:

— Да вы чудовище! Нет, я категорически запрещаю! Только попробуйте выдать его полиции — и никогда больше не увидите меня! И вообще я покончу с собой.

Дики взял ее руку:

— Вот что, Аннетта, послушайте и поразмыслите хорошенько. Мое здоровье не в лучшем состоянии. Врачи говорят, что я старею. Детей у меня нет. И как подумаю о своих любимых парках, картинах… Мы с вами оба способны привязываться к предметам, как к друзьям, любить их, заботиться об этих таинственных существах, которые считаются неодушевленными. На самом деле предметы становятся неодушевленными, когда их забывают, а чтобы они жили, надо на

них смотреть, по-дружески к ним относиться. Когда я умру, рухнет весь мой мирок, распадется, раздробится на части. Эта мысль угнетает меня. Я бы хотел оставить вас хранительницей моего волшебного царства. Выходите за меня замуж.

Аннетта не верила своим ушам.

— Дики! Вы даже не знаете, кто я такая.

— Все я знаю. Я уже целый год изучаю ваше прошлое и не думаю, что осталось что-то неизвестное мне. Скажу вам больше: от вашего прошлого не осталось и следа. Кое-что стоило мне большого труда, но если кто-нибудь пожелает найти в мэрии запись о рождении Аннетты Буден, он только зря потеряет время. И мне вообще в высшей степени наплевать на всякую чушь, вроде происхождения, родословной и титулов. Я все это презираю. Моя жена была цыганкой и, когда я встретил ее, плясала на улицах, но она, бесспорно, была высокого происхождения и благородной крови, какие даются самой природой. Для человека важны только его личные достоинства, а ваши неоспоримы. Вы станете для меня превосходной спутницей и идеальной наследницей всего, чем я владею. Иначе ценность моих картин сведется к деньгам, дома опустеют и утратят свою красоту, парки ждет забвение и запустение. Нельзя об-

рекать на такое любимые вещи, они нуждаются в нас.

Аннетта была изумлена, ошарашена, глубоко тронута такой честью, но покачала головой:

— Мне так хотелось бы ответить вам согласием, Дики. Но это невозможно, это было бы нечестно по отношению к вам. Я не могу жить без Армана. Вы сами знаете, что это значит.

Он поцеловал ее в лоб и печально сказал:

— Да, моя милая, да. Я знаю, что это значит. Что ж… Поедемте тогда в Равенну.

Однако он заронил в нее мысль о возможности избавления, и она, в полном смятении и отчаянии, всю ночь не сомкнула глаз, курила сигарету за сигаретой и мечтала о свободе, понимая, что освободиться не может. А ведь Арман так хорошо внушил ей, что нет ничего дороже свободы и ради нее надо без колебаний пожертвовать всем, но, видимо, уроки не пошли ей впрок. Надо бы, уныло думала она, выковать себе душу террориста, перейти, как говорит Арман, к прямому действию, последовать наконец полученным наставлениям и бросить бомбу, чтобы освободиться от тирана.

По возвращении из Равенны она с обновленным вниманием слушала Армана и впервые

попыталась как следует усвоить его железную логику, проникнуться силой убеждения, исходящей от его страстного, вдохновенного, магнетического голоса, когда он обличал рабство во всех его формах, порицал закабаленные умы и души. Теперь-то леди Л. хорошо видела противоречие между тем, чему учил ее Арман, и его собственным поведением, между абсолютной свободой, которую он отстаивал, и его рабским подчинением некой идее. Между самой идеей абсолютной свободы и абсолютной покорностью ей. Между свободой человеческой личности, которую он требовал, и его подчинением догме. Сегодня она понимала: кто хочет быть свободным, должен оставаться свободным и в отношении своих мыслей, не позволять безоговорочно увлекать себя собственной логике и даже истине, нужно оставлять рядом с любой идеей неприкосновенное свободное пространство. Может быть, даже подниматься над своими идеями и убеждениями, чтобы остаться свободным человеком. Несгибаемая логика может превратиться в тюрьму, ибо человеческая жизнь состоит из противоречий, компромиссов, временных уступок, а великие принципы могут как озарить, так и испепелить весь мир. Любимый принцип Армана “надо идти

до конца” на самом деле вел в никуда, его мечта о совершенной социальной справедливости требовала такой чистоты, какая может быть только в вакууме. Но в то время Аннетте было всего двадцать лет, ей не хватало образования и было невдомек, какой разрушительной силой обладает логика экстремизма, не важно, истинная или ложная; она еще не жила в мире торжествующих идеологий и знала лишь одно: Армана снедает всепоглощающая страсть, а ей достаются объедки. Она заметила, что он говорит о человечестве как о женщине, и возненавидела эту тайную, безликую, мистическую, деспотичную соперницу, которую не могут удовлетворить влюбленные в нее мужчины и чье самое большое удовольствие — посылать их на гибель. Постоянно слышать, как Арман говорит о другой, читать в его глазах грезы, влечение, мечты, в которых для нее нет места, — это ли не пытка! Он мучился, сходил с ума не из-за нее, строил дерзкие планы без нее, он жил, страдал, рисковал головой не ради нее. Это прекрасное мужское тело, земное, созданное из горячей плоти, крепкое, гибкое, с мускулистыми ногами и сильными руками, умеющими обнимать и держать, принадлежало другой, жестокой, равнодушной и ненасытной,

злой далекой принцессе; ей он верно служил, о ее счастье, удовольствии и нуждах пекся, и ничто другое его не заботило. Аннетта мысленно называла соперницу “Та”, “Она” и “Другая” и видела в Человечестве жадную своенравную женщину, которая отнимает у нее любовника. Да, это принцесса, важная особа, безжалостная, бездушная, сумасбродная и любящая кровавые игры. Все остальное — идеи, цели, политические теории — было слишком сложно, абстрактно и довольно противно, так что если в угоду “ей” надо было бросать бомбы и убивать, то только из-за “ее” порочности; Аннетта знала: некоторые мужчины обожают такое, они любят женщин, причиняющих им страдания и требующих невозможного, наверняка “она” была из таких мерзавок. К тому же ни в коем случае нельзя было не только ругать соперницу, но даже говорить о ней сколько-нибудь непочтительно; чуть что — Арман смотрел на Аннетту таким ледяным взором, как будто она оскорбила его мать, и это совсем добивало ее.

— Монархи, правительства, генералы, полиция каждый день терзают человечество, — говорил он, бывало, комкая газету. — Человечество — беззащитная жертва их алчности, при этом пресса заглушает его крики, а церковь призывает к

смирению.

Аннетта пожимала плечами:

— Почем ты знаешь, может, человечеству это нравится?

Но, поймав его разъяренный взгляд, тут же спохватывалась:

— Прости меня, милый, я сама не знаю, что говорю. Мне еще столькому надо научиться.

“Как странно, — думала она, склоняясь над ним, касаясь пальцами его лица, заглядывая в чуткие, пылкие, полные боли глаза, — как странно! Его так же неудержимо тянет к этой мерзавке, как меня к нему, его эта чрезмерная любовь губит, как меня — моя, он превыше всего ценит свободу, но не может освободиться, я кляну его слепую страсть и не могу избавиться от своей”.

Стоило Аннетте его увидеть — и все благие решения таяли, стоило почувствовать его в себе — и ее охватывало невыразимое счастье, и все самые умные и веские доводы в пользу того, что надо все прекращать, казались чем-то пустым, надуманным; да и сам Арман, обнимая ее, обретал наконец живое, подлинное счастье прямо здесь и сейчас — полноценное счастье, которое можно прижать к себе; ему выпадало то редкое мгновение, когда абсолют вдруг ста-

новится материальным, и в этот миг он бывал таким неистовым, нежным и страстным, что она забывала о том, что точно знала: это всего лишь короткая передышка, глоток земной радости, который позволял себе заоблачный странник. И они ненадолго сливались друг с другом в простом, незатейливом счастье.

— Люблю тебя.

— Тсс, молчи, Арман, а то она услышит…

— Кто?

— Другая.

— Не понимаю.

— Да знаешь ты, Арман. Та, другая. Твоя идея. По имени Человечество.

Он смеялся, перебирая ее волосы:

— Нельзя же так. Можно подумать, она твоя соперница.

— Да. И у нее везде полно шпионов. Они донесут на тебя. Там-то, в такой-то день объект имел свидание с любимой женщиной. Взят с поличным. Свобода, Равенство и Братство тому свидетели и могут подтвердить.

— И что же дальше?

— Я не знаю, что дальше. Тебя будут судить.

— Я буду отрицать вину.

— Вот видишь, ты меня не любишь.

— Скажу человечеству, что люблю женщину, которая разделяет наши идеалы, соратницу в нашей борьбе, верную, ловкую, отважную. Нет, серьезно, я правда скоро попрошу тебя помочь нам. Час близится. Все говорит об этом. Репрессии усиливаются. Их гнет ложится на рабочих, которые, как следствие, переходят на нашу сторону.

Аннетта грустно смотрела на него и вздыхала.

“Господи, — думала она, — и угораздило же меня влюбиться в идеалиста! Нет чтобы в нормального обормота, как все люди. Мы были бы так счастливы!” Но она знала, что это не так. Наоборот, именно эта пламенная одержимость влекла ее к Арману и рождала в ней инстинктивное, чисто женское, мучительное желание обратить на себя, захватить его любовь, отнять такого небывало пылкого и верного любовника у соперницы, будь она даже многоликой, как все человечество.

— Да почему же ты плачешь, Аннетта?

— Оставь меня…

В ту пору террор, особенно во Франции, разбушевался вовсю. Банкиров, политиков, когда продажных, а когда и честных, убивали на улицах и даже прямо в парламенте, бомбы взрывались в разных публичных местах вроде кафе, где соби-

рались “паразиты”; в связи с этим Глендейл счел за лучшее забрать у Аннетты остаток ее драгоценностей. Арман был в постоянных разъездах и никогда не ночевал дважды в одном и том же месте, его всегда охраняли студенты, двое из них погибли, защищая его; Аннетта никогда не знала, когда и где они встретятся в следующий раз. Он мог внезапно вызвать ее запиской в Стрезу, где ждал ее на озере в рыбацкой лодке, одетый как *pescatore*[29] в красную рубаху и синий берет, и она проводила ночь, лежа, как пойманная русалка, на рыболовных сетях. После этого он исчезал на неделю или две, меж тем газеты писали о новом теракте, например в Милане, на открытии нового вокзала, когда осколком адской машины ранило случайную девочку в толпе, — а бедная Аннетта, полная тревоги и возмущения, готовая на этот раз взбунтоваться всерьез, ждала и ждала, пока новое послание не заставляло ее мчаться в Геную на Кампо-Санто, где Арман вдруг представал перед ней среди каменных ангелов и гипсовых святых. Несколько раз они встречались в доме Габриеле Д'Аннунцио, яркой звездой восходившего тогда на литературный небосклон Италии. Знакомство

---

[29] Примечания: 29
Рыбак *(итал.).*

их произошло типичным для Д'Аннунцио первого периода образом (так вполне можно выразиться, потому что он с равным рвением и вдохновением строил свою жизнь и свое поэтическое творчество). Однажды вечером влюбленные гуляли по Кампо-Санто, петляя меж барочных памятников этого знаменитейшего в мире кладбища, и вдруг заметили, что за ними идет по пятам какой-то элегантно одетый молодой человек невысокого роста. Арман первым делом подумал о полиции и уже потянулся за спрятанным под курткой пистолетом, но незнакомец приблизился и весьма учтиво, хотя и чуточку нагловато поздоровался с ними.

— Меня зовут Габриеле Д'Аннунцио, я поэт, — произнес он. — Я бы хотел обратиться к вам с просьбой и заранее прошу прощения, если она покажется вам неуместной. Не согласитесь ли вы, месье, и вы, мадемуазель, почтить своим присутствием мой дом?

Арман смерил его холодным взглядом:

— Боюсь, не понимаю, что вы хотите сказать.

— Я хочу предоставить мой дом, где живу я один, в ваше распоряжение, чтобы любовь и красота благословили обитель поэта и вдохновили его на новые творения.

Сам Д'Аннунцио рассказывает эту историю иначе. По его версии, он предложил свой дом доведенным до крайности влюбленным, которых встретил в Генуе на Кампо-Санто, когда они собирались вместе умереть. Когда позднее леди Л. прочла этот рассказ в одном из писем поэта, она немало удивилась, узнав, что была юной цветочницей с корзиной пармских фиалок в руках и разбрасывала их “по холодной земле, которая должна была служить ложем для их последних объятий”, и отличалась “несравненной красотой дикого животного”. Но она понимала, что такое поэтическая вольность, а сравнение с “диким животным” ей пришлось по душе.

Два случившихся вскоре события все-таки заставили Аннетту принять неизбежное и самое мучительное в ее жизни решение, одним из счастливейших последствий которого стало то, что британская корона получила несколько непоколебимых столпов.

Однажды ее срочно вызвал секретарь лорда Глендейла, она пришла, и ее немедленно отвели к нему. Дики лежал в постели с посеревшим лицом; скулы его, казалось, выдавались еще сильнее, а глаза еще больше щурились; к признакам старости добавились признаки болезни.

Он держал в руке и любовно разглядывал миниатюру; ей, в отличие от ее обладателя, было не суждено умереть — она принадлежала кисти Гольбейна. У изголовья больного стояли двое: известный кардиолог Мандзини и синьор Феличчи, миланский антиквар. Когда оба иностранца ушли, Глендейл печально улыбнулся лучшему из всех столь любимых им произведений искусства — но этот шедевр был живым, обладал свободной волей и независимым умом, что сильно осложняло жизнь ценителя.

— Мандзини дает мне год. Думаю, он меня недооценивает, я могу прожить и два, но могу не протянуть и полугода. Мои племянники, должно быть, уже облизываются в предвкушении, и очень скоро молоток аукциониста исполнит четыре роковых бетховенских удара[30]. Вы выйдете за меня замуж?

— Но я не могу, не могу! — воскликнула Аннетта. — Как же вы не поймете…

— Аннетта, свобода — это самое драгоценное, что есть на свете, как неустанно твердят нам все философы и настоящие революционеры. Вы не должны до конца своих дней оставаться рабы-

[30] Примечания: 30

Намек на приписываемые Бетховену слова о главном мотиве первой части Пятой симфонии: “Так судьба стучится в дверь”.

ней своей страсти. Будь вы достойной ученицей Армана, вы бы уже давно применили его науку. Он обитает в джунглях, и кончится тем, что его идейная страсть, тот самый тигр, о котором пишет Блейк, неминуемо сожрет его, а вместе с ним и вас. Восстаньте против вашего тирана, раз он сам не способен восстать против своего. Сбросьте иго. Освободитесь. Даже если для этого придется бросить бомбу в вашего безжалостного хозяина. Подумайте, дитя мое, и дайте мне ответ, только не медлите.

Аннетта тихо заплакала, она запуталась и не знала, какому святому или какому бесу довериться. Она понимала: это ее последний шанс, и времени на раздумья очень мало. Если Дики не станет, ничто не спасет ее от полного краха, но она ничего не могла с собой поделать и упрямо качала головой.

Помогло ей само провидение: несколько дней спустя она узнала, что беременна от Армана. Леди Л. не раз задумывалась, как сложилась бы ее жизнь, если бы не этот указующий перст: Больдини и Сарджент не написали бы ее портреты, род Глендейлов не получил бы наследника, англиканская церковь, Британская империя и партия консерваторов лишились бы нескольких надеж-

ных опор, а Англия — одной из самых блестящих великосветских дам.

— Подумать только, от каких капризов судьбы все зависит, — сказала леди Л., глядя на сэра Перси рассеянным взором.

На лице поэта-лауреата был написан ужас, нет, он не мог поверить; застыв как вкопанный посреди дорожки, он яростно сжимал трость — на миг леди Л. показалось, что он начнет хлестать ею по воздуху, чтобы отогнать насмешливых бесов, которые, мнилось ему, осаждали его со всех сторон.

С того момента, когда не осталось сомнений в ее положении, она принялась действовать с железной решимостью, заставив молчать свое сердце и стараясь заглушить даже мысли; причем, что характерно для этого ее нового состояния, Глендейлу, несмотря на полное к нему доверие, она ни слова не сказала о своей беременности. Ни о каком, даже малейшем риске не могло быть и речи, Аннетта с самого начала стала ожесточенно, яростно бороться за будущее своего ребенка, инстинктивно подчиняясь неумолимому древнейшему закону природы.

Последнее их свидание происходило на Борромейских островах озера Лаго-Маджоре. Острова тогда еще были собственностью семейства Бор-

рилья, Аннетта там гостила, а Арман приплыл в лодке, несмотря на бурные волны. Стоя на ступенях ведущей к частной пристани мраморной лестницы в белом платье, с омбрелькой в руке, она поджидала его с раннего утра. Он пошел вслед за ней по дорожке меж розовых кустов; это были последние сентябрьские розы, источавшие тот слабый, но сладкий аромат, какой обретают увядающие цветы, подобно тому как люди обретают под конец жизни мудрость.

Аннетта сказала Арману, что Глендейл собирается в октябре запереть свою виллу в Комо и перевезти все сокровища в Англию; революционеры, как всегда, сидели без денег, и это был последний шанс раздобыть их. Она якобы обещала ему провести на вилле ближайший конец недели; там будут и другие гости, но она позаботится подсыпать всем им снотворного в вино, а справиться со слугами будет нетрудно. Но разумеется, сначала надо удостовериться, что планы Глендейла не изменились. Леди Л. до сих пор помнила, какую страшную, почти физическую боль ощущала, когда говорила все это. Помнила жужжанье ос вокруг роз, помнила свое глубокое, безысходное отчаяние, смешанное с бешеной обидой, бурю терзавших ее чувств, в которой

преобладали то холодная, злая, когтистая ирония, то нежность и жалость, то желание защитить, спасти или убить Армана, чтобы больше не страдать, а то вдруг — больно ранить, наказать его. Арман же, как назло, был в тот раз особенно нежен, весел и ласков, полон благодарности и надежды, он был так прекрасен, и Аннетта с таким восторгом разглядывала его лицо, в котором, кажется, угадывались черты ребенка, которого она носила под сердцем, что, не в силах больше терпеть эту смуту, бросилась в его объятия и разрыдалась у него на плече. Еще немного — и она бы все ему простила и во всем призналась, но, к счастью, когда глаза ее уже наполнились слезами раскаяния и она готова была заговорить, Арман, которым снова овладел его бес, пустился вдохновенно воспевать прекрасный новый мир, который наступит, когда человечество сбросит цепи; он исполнил такой гимн любви и верности в честь ее соперницы, так подробно и убежденно расписывал, какая борьба, какие испытания им еще предстоят, что она испустила протяжный вздох, который унес последние сомнения и угрызения.

— Впрочем, недавно было сделано научное открытие, крайне важное для перманентной ре-

волюции: легкий способ изготовлять взрывчатку, в сто раз более мощную, чем все известные до сих пор, — закончил свою речь Арман.

— Какая прекрасная новость, — сказала Аннетта. — Это просто чудесно.

— Да, это же грандиозно! Чтобы достигнуть цели, достаточно будет горстки решительных людей. Это активное меньшинство легко оттеснит зажравшуюся гнилую буржуазию и возьмет власть в свои руки. Мы победим!

Она полуприкрыла веки и бросила на него взгляд, полный нежности и злости. На подмогу ей пришел зазвучавший в мозгу вкрадчивый, убедительный голос старого искусителя: “Восстаньте против своего тирана, будьте достойной ученицей Армана…” Она отвернулась, улыбнулась, раскрыла омбрельку и прикоснулась кончиками затянутых в перчатку пальцев к красному цветку.

— Все товарищи верят: это изобретение открывает новые перспективы…

— Не сомневаюсь, друг мой, — сказала она.

В ней не осталось ничего, кроме иронии. Именно в этот миг, когда на ресницах ее еще дрожали слезы и она легким движением подставляла розу кружащей над ней осе, — в этот миг родилась но-

вая личность: язвительная, безупречная и подчас бессердечная леди Л.

Она опять повернулась к Арману и долго-долго разглядывала его, чтобы запомнить эти мужественные, невыразимо прекрасные черты, которые отныне она сможет видеть только в воспоминаниях. “Не следовало Создателю наделять такой красотой своих врагов”, — подумала она с легким вздохом. Арман стоял, опершись рукой на ветку апельсинового дерева, и в неподвижности кошачья грация его гибкого, готового в любой миг встрепенуться тела была, пожалуй, еще ощутимее, чем в движении. Аннетте почудилось, что этот горящий темным пламенем взгляд устремлен на нее уже из-за решетки.

– *Tiger, tiger burning bright, in the forests of the night…* — прошептала она.

— Что-что?

— Это стихи Уильяма Блейка. Я беру уроки английского.

Как это несправедливо! Как жестоко с его стороны так поступать с ней, заставлять ее прибегать к таким ужасным средствам, она никогда, никогда ему этого не простит. Она достала из рукава кружевной платочек и поднесла его к глазам.

— Ну-ну, Аннетта! — сказал Арман, привлекая

ее к себе. — Все не так страшно.

“Каким же образом, — думала Аннетта, внимательно глядя на него, — удавалось ему столько лет водить за нос полицию всей Европы и его ни разу не поймали? Впрочем, в полиции служат не женщины, а мужчины, наверно, в этом-то все и дело”. Они условились, что Арман с двумя подручными прибудут в Комо в пятницу вечером, то есть через день. Переночуют на вилле графа Грановского, которая уже несколько месяцев стоит запертой и заброшенной, с тех пор как хозяин проигрался в Монте-Карло и застрелился, — история тогда наделала много шума; а в субботу вечером Аннетта перебросит через ворота виллы красную розу — знак того, что все идет хорошо, никаких неожиданностей. В десять часов все трое проникнут в дом лорда Глендейла на берегу озера, свяжут четверых слуг и выгребут все сокровища, а потом вернутся на виллу Грановского, переоденутся в форму австрийских и французских кавалерийских офицеров — в Комо в те дни проходили ежегодные конные состязания — и уедут в Геную полуночным поездом. Оттуда они немедля отправятся в Константинополь, где был тогда лучший в мире рынок сбыта краденых драгоценностей. Слово “Константино-

поль” рождало в воображении Аннетты такие романтические образы, что у нее снова возникло искушение передумать и честно помочь Арману ограбить Глендейла: она так и видела, как они с Арманом сидят обнявшись в позолоченном каике на Босфоре. И снова ее спасло провидение: в эту минуту крохотная ножка толкнула ее изнутри, и она опомнилась. Не то чтобы Аннетта была по-настоящему верующей, но иной раз не могла не почувствовать, что некая дружественная сила опекает и защищает ее. Вообще говоря, Бог представлялся ей этаким всемогущим Дики, чье таинственное благоволение осеняет весь мир и сказывается в красоте цветов и сладости плодов.

С тех пор леди Л. много раз побывала в Стамбуле, как называется теперь Константинополь, и этот город, в котором есть что-то жутковато-порочное, придающее ему особую прелесть, всегда ей нравился, но без Армана — это, конечно, совсем не то, без него он мертв, как заброшенная декорация. Что поделать, нельзя же иметь в жизни всё.

Итак, в условленный день и час Аннетта перебросила через ворота виллы красную розу, а Арман ее подобрал. Цветок был искусственный, кружевной, Аннетта оторвала его с одной своей

шляпки. Живые розы быстро вянут, а ей хотелось, чтобы Арман сохранил в тюрьме что-то, напоминающее о ней.

Три грабителя беспрепятственно проникли на виллу. Двое русских студентов-нигилистов, Заславский и Любимов, остались сторожить у ворот. Аннетта заранее открыла входную дверь, Глендейл обильно накачал снотворным гостей, среди которых были британский консул в Милане, капитан немецкой команды на скачках генерал фон Людекиндт, и еще двое высокопоставленных особ, чьи имена леди Л. давно позабыла. Все они спали, уронив голову на уставленный канделябрами пиршественный стол — ни дать ни взять сцена из “Каменного гостя”, — компанию им составляли жареный фазан на блюде, два лакея и дворецкий; для верности Дики подсыпал снотворного и прислуге, и даже пуделю Мюрату. Сам же, чтобы не подвергать риску больное сердце, только притворился спящим. Развалившись в кресле в весьма живописной и вполне убедительной позе, он краем глаза любовался сценой: живая картина удалась на славу. Что же касается Аннетты, она сама себе вкатила изрядную дозу, иначе точно не сомкнула бы глаз до утра.

Справившись с непыльной работой меньше

чем за час, Арман с Лекёром и жокеем вернулись на виллу Грановского. Но едва зашли в ворота парка, как на них со всех сторон накинулись два десятка полицейских. Армана и жокея скрутили сразу, а Лекёр, изрыгая ругательства, ухитрился выхватить свой верный бандитский нож и пырнуть в грудь одного полицейского. Заславскому и Любимову, которые отправились прямо на вокзал и сели в поезд, удалось бежать; позднее в России они участвовали в разных терактах; Любимов умер в Сибири, Заславский выжил, присоединился к социал-демократам, играл значительную роль в окружении Керенского и последовал за ним в эмиграцию. Тройку анархистов доставили в Милан, и несколько дней подряд новость об аресте Армана Дени не сходила со страниц газет, однако в конце концов ни в чем, кроме вооруженного ограбления, обвинить их не смогли: во-первых, никто из разоблаченной сети подпольщиков не дал против них показаний, а во-вторых, присяжные испугались мести; в результате приговорили их всего лишь к пятнадцати годам принудительных работ — приговор, который был воспринят как чуть ли не оправдание и вызвал возмущение благонамеренных людей во Франции и Италии, а тут еще череда

кровавых деяний Равашоля напомнила сторонникам порядка, что время убийств отнюдь не прошло.

Скандальная история, которой леди Л. пытала поэта-лауреата, приводила его в такое негодование, что он изо всех сил старался не слушать ее, а думать о приятных, утешительных вещах, какими была полна его жизнь, воскрешал в памяти спасительные образы привычного, надежного и непоколебимого мира: вход в клуб “Будлс” на Сент-Джеймс-стрит, последний матч в крикет с Австралией, газета “Таймс” с уютным, чинным мирком объявлений, которым это самое серьезное в мире издание неизменно посвящает всю первую полосу прежде передовиц и новостей мировой политики, указывая тем самым большой Истории — со всеми войнами и бедствиями, вопросами жизни и смерти, свободы и рабства — ее место. Повадка подлинно аристократическая и, если вдуматься, с примесью нигилизма или терроризма, в духе традиционного английского юмора, не позволяющего жизни приближаться к вам слишком близко и докучать своими проблемами, а также в духе леди Л. первого периода, умевшей с холодной царственной улыбкой отстранять все неважное и пропускать вперед

первостепенное. Но как сэр Перси ни старался убедить себя, что история эта — сплошная выдумка, он не мог не почувствовать в ней признаки ужасной истины. Когда-то он был немного знаком с лордом Глендейлом, этим диковинным человеком, способным на самые несуразные выходки и вечно доставлявшим неприятности двору. Однажды, например, он обнаглел до того, что подарил принцу Уэльскому золотой инструмент для обрезки сигар в форме гильотины. Хуже всего было то, как небрежно и жестоко леди Л. все продолжала свой рассказ, не считаясь с тем, что причиняет ему боль и, главное, оскорбляет глубокие чувства, которые он всегда к ней питал и о которых она не могла не знать, хоть он почтительно скрывал их. Он уже сорок лет любил ее с редкостным постоянством, порой ему даже казалось, что он никогда не умрет — ведь вместе с ним умерла бы его любовь, а она бесконечна, бессмертна. И вот теперь леди Л. совершенно сознательно ранит его, разрушает прекрасный образ, живущий в его сердце, и даже с явным удовольствием марает собственную репутацию и свое положение в обществе, изображая себя в таком отвратительном виде! До павильона, поднимавшего к небу свой остроконечный купол, оставалось несколько

шагов, и Перси с нарастающей тревогой думал, что же ожидает его за скрывавшими вход шпалерами шиповника и плюща. Ему было как-то не по себе — слишком уж все тут походило на место тайных свиданий. Повсюду среди розовых кустов и лилий расставлены статуи шаловливых голозадых купидончиков с луками и стрелами; воздух так густо пропитан сладким соблазном и душным цветочным ароматом, что даже бабочки, казалось, порхают с какой-то томной негой. Поэт-лауреат крепко сжал набалдашник трости, он чувствовал себя рыцарем Галахадом с копьем, который заплутал в околдованном лесу.

— Мы сыграли роскошную свадьбу, — снова заговорила леди Л., — и поселились в Англии, там и родился мой сын. Дики прожил дольше, чем предсказывали врачи, и, возможно, в том была моя заслуга. Королевская семья поначалу, разумеется, хмурила брови, но генеалогическое древо, которое Дики поручил соорудить одному из тогдашних светил, выглядело очень убедительно, так же как семейные документы и портреты предков, — вы же помните, сколько шума наделала находка портрета моего прапрадеда Гонзаго де Камоэнса кисти Эль Греко, подлинность которого признана всеми экспертами; это было крупней-

шее событие рубежа веков в мире искусства; все были потрясены моим явным сходством с предком, и я сама почувствовала свою причастность к славным страницам прошлого. В результате меня приняли при дворе гораздо доброжелательнее, чем я ожидала. Дики обожал скандалы, и такой мирный исход его несколько расстроил, но он смирился из любви ко мне. Принц Уэльский дал знать, что находит меня очаровательной; правда, в Букингемский дворец меня до самой смерти королевы Виктории не приглашали, но не из-за моего происхождения, а из-за ее личной войны с Дики. Я отнеслась к своим обязанностям очень серьезно. Сорила деньгами. Окружала себя редкой даже по тем временам роскошью; это было совсем не в моем характере, но так я боролась с моей соперницей, бросала ей вызов, старалась забыть о единственном настоящем богатстве, которым когда-то обладала. Я помогала тысячам обездоленным семьям, но прежде удостоверялась, что у каждого из моих бедняков есть свое, известное мне лицо, и не желала делать ничего для той, другой, безликой и безымянной, холодной, абстрактной идеи человечества, которая преследовала людей доброй воли и пожирала их, но никак не могла утолить свою страсть к абсо-

люту. Бывают, говорят, ненасытные женщины, которые уничтожают своей любовью тех, к кому вожделеют; если это и правда так, то “идея” заслуженно относится к женскому полу. Не цинизм толкал меня к роскоши, а скорее нигилизм или дух отрицания. Я продолжала мысленно спорить со своим визионером. Это было не кредо, а постоянный мятеж, этакий духовный экстремизм, который после Первой мировой войны нашел свое художественное выражение в сюрреализме, поэтике безысходности. В Глендейл-хаусе у меня было сто сорок слуг, половина из них сопровождала нас, когда мы уезжали на зиму в Лондон; вся моя жизнь состояла из череды балов, приемов, театральных премьер. Я отдавалась светскому вихрю не столько ради веселья, сколько… как сказать?.. из желания еще больше разозлить Армана. Дики немножко ворчал, но ему доставляло огромное удовольствие видеть, что меня всюду принимают и мой престиж в обществе все растет; глядя на это, он думал о том, с чего я начинала, о притоне на улице Жир, и расцветал довольной улыбкой. Вот уж кто был прирожденным анархистом! Думаю, я дала ему счастье. Меня часто томила тоска по моему черному тигру, тогда я брала на руки сына, и мне достаточно

было послушать его смех, чтобы прогнать все сомнения и угрызения, я знала, что поступила правильно. Очень скоро я стала чуть ли не самой блистательной, достопочтенной светской дамой; лучшие умы Европы считали за честь побывать в моем салоне, за моим столом обсуждались государственные дела, к моему мнению почтительно прислушивались. Никто не догадывался, что на самом деле мне были глубоко безразличны все коллекции бесценных предметов, которыми я себя окружала, и что я предпочитала этим шедеврам дешевые безделушки и набивала ими построенный по моему распоряжению в глубине парка восточный павильон, образец отменно дурного вкуса. Но я продолжала дуэль с соперницей и ее воздыхателем и, к моей несказанной радости, добилась того, чтобы все порядочные анархистские газеты приводили мое собрание картин и драгоценностей, мои виллы и парки в пример вырождения и загнивания аристократии. Художника, писавшего мой портрет, тотчас заваливали заказами, музыканту, приглашенному дать концерт в моем салоне, считай, повсюду был обеспечен успех. Писатели посвящали мне свои произведения. Стоило мне в чем-то проявить эксцентричный вкус или даже безвкусицу, как

эта причуда становилась новой модой. Словом, я старалась, как могла.

Когда Дики умер через шесть лет после нашей женитьбы, я взяла на себя заботу обо всем, что он любил, и мало-помалу мир разного рода бессловесных вещей стал мне дружественным и родным. Потом я вышла замуж за лорда Л. — к тому времени настоящих рыцарей стало не отыскать днем с огнем — и оказала ему немалую помощь в политической карьере; партия консерваторов, это собрание узколобых филистеров, видела во мне свою самую верную соратницу и во всем меня слушалась. О, я была в восторге от их убогих идей, скудного воображения и тупой, непомерной осторожности, я чувствовала, как они бесят мою соперницу, великую идею человечества, и естественным образом заключила союз с врагами моей врагини. Я очень многому научилась. Пристрастилась к книгам и читала ночами напролет. Меня весьма привлекали либеральные идеи с их умеренностью и здравомыслием, но я держала себя в руках и не давала волю своим симпатиям. Сын мой рос прелестным ребенком с черными блестящими глазками, и ему было невдомек, почему это мама часто подолгу вглядывается в него и вдруг принимается

плакать. Я старалась, как могла, заговорить боль и быть счастливой, испробовала всё: концерты, выставки, балеты, путешествия, книги, друзей, цветы, домашних животных. Но холод разлуки по-прежнему окутывал мои плечи. Лет восемь я неустанно вела эту вздорную, отчаянную битву со своей соперницей. И вот однажды ночью…

Глава XI

Окно было открыто. Парк тонул в темноте, ночь поскупилась даже на звезды, припрятала их для себя. Леди Л. сидела в кресле с закрытыми глазами и слушала доносившиеся издалека, словно из прошлого, звуки сонаты Скарлатти. Оставив гостей, она покинула концертный зал, чтобы выпить рюмку хереса и выкурить сигарету. А главное, чтобы побыть одной, отдохнуть от обязательных улыбок и учтивых речей. Играл квартет Силадьи, который она же и пригласила, но с некоторых пор музыка стала для нее какой-то другой, словно превратилась в голос раскаяния, сама ее красота как будто упрекала Аннетту, а в наступавшей потом тишине этот упрек звучал еще громче. Леди Л. откинула голову на мягкую подушку. Сигарета догорала у нее в руке.

Вдруг она услышала негромкий кашель и открыла глаза. Никого, она по-прежнему в комнате одна. Она внимательно огляделась и заметила торчащий из-под тяжелой шторы красного бархата носок здоровенного грязного ботинка. Несколько мгновений она взирала на него с

удивлением, но без малейшего страха: кто-то прячется за шторой — подумаешь, чего тут пугаться! И даже когда незнакомец отдернул штору и шагнул к ней, она лишь недовольно подумала, что сторожа в парке плохо работают. Это был бледный дородный человек с коротковатыми руками и нервными пальцами, пухлое лицо его было искажено тревогой, но на нем читалось то изумленно-презрительное выражение, какое отличает людей, вечно стремящихся делать добро и вечно терпящих разочарование, вот и сейчас он глядел на нее с негодованием и опаской. Аннетта посмотрела на его ботинки: огромные, замызганные, более чем неуместные на китайском ковре. Плащ его тоже был весь в грязи, должно быть, он перелезал через ограду и свалился. В общем, натерпелся бедняга. Незваный гость оставался в шляпе-котелке — явно вызывающий жест — и, стоя так, с оскорбленным и возмущенным видом непримиримого борца, продолжал немилосердно сверлить ее взглядом — живое воплощение социального протеста.

— Громов, Платон Софокл Аристотель Гро-

мов[31], смиренный слуга человечества, — заговорил он хриплым и каким-то обреченным голосом, будто бы, заявляя о себе, тут же сам себя и зачеркивал. — Скарлатти, если не ошибаюсь? Я тоже большой любитель музыки, особенно бельканто, бывший ученик великого Герцена и Бакунина, бывший первый баритон оперы Ковент-Гарден, подло уволенный за то, что не желал петь перед коронованными особами.

Леди Л. смотрела на него холодно, с оттенком брезгливого интереса. Она столько лет провела среди чужих, что было даже утешительно встретить кого-то хорошо знакомого — она подумала об отце, но подавила вспыхнувшую неприязнь. Громов подошел к ней еще ближе утиной походочкой; маленькие светлые глазки и взмокшее от пота перепуганное лицо делали его похожим на несчастного певца, которого посреди арии окатили ведром холодной воды. Аннетта затянулась сигаретой, сощурилась и выпустила дым. Происходящее начало ее веселить.

— Деликатное дельце, чрезвычайно важное

---

[31] Примечания: 31

На самом деле П. С. А. Томас, сын органиста Чичестерского собора, член группы “Действие”, основанной Кропоткиным в Англии. Анархисты, как позднее артисты балета, в то время часто брали себе русские псевдонимы. *(Прим. автора.)*

послание, буквально вопрос жизни и смерти… Просто почтовый ящик на службе человечества… Человек воспрянет. Освобожденный от оков, счастливый, сияющий светом своего вновь обретенного естества… Все такое… Было непросто добраться: ночь выколи глаз, собаки лают, но я не сдался, старался, как всегда, и вот я здесь. Выпить рюмочку не отказался бы.

Леди Л. знала, что в любой момент может войти кто-нибудь из гостей или слуг, и ей пришлось прервать эту сцену. А жаль — она такая забавная! После многих лет в тисках этикета, хороших манер и стерильно-крахмального общества эти изгвазданные ботинища посреди ковра — прямо-таки глоток свежего воздуха. Но продолжать развлекаться было бы непозволительно. Не хватало еще, чтобы ее застали улыбающейся этому колоритному персонажу как старому другу. Она нахмурилась и потянулась к шнурку звонка. Тогда гость жестом фокусника скинул шляпу, выхватил из нее красную кружевную розу и поднял высоко над головой.

Леди Л. ничуть не смутилась. Лицо ее осталось равнодушным, губы тронула недоуменная улыбка. Но все в ней словно оборвалось, она зависла в пустоте, и только сердце бешено колотилось.

“Я могу устоять перед чем угодно, кроме искушения”, — прозвучали в ушах слова ее приятеля Оскара Уайльда. Она протянула руку к цветку. Платон Софокл Аристотель Громов такого не ожидал, он не привык к успеху. У него никогда ничего не получалось, все всегда проваливалось, вечно происходили какие-нибудь недоразумения, ошибки, возникали какие-нибудь помехи, его не понимали, над ним смеялись, но он упорно верил, любил и жертвовал собой. Идея человечества имела колдовское свойство внушать нерушимую любовь к себе, которую не в силах поколебать никакие неудачи, афронты или изощренные насмешки — так роковая женщина порабощает своих поклонников. Этого грустного клоуна выпустили на арену с обычным для его амплуа номером: ему должны были отвесить порцию оплеух и выкинуть вон, но вдруг все обернулось иначе, пошло на лад, обрело ощутимую форму и смысл. Он просиял, отдал розу леди Л., облегченно вздохнул, расплылся в лукавой улыбке, а потом, потирая руки, смело подошел к столику и налил себе рюмку хереса.

— За прекрасную жизнь! За общество без классов и рас, без партий и господ, за всеобщее братство, любовь и справедливость! *Cheers!* —

провозгласил он, поднимая рюмку.

— Ну и что это за послание? — резко спросила леди Л. — Отступать поздно, друг мой, говорите все и сразу, а не то я прикажу вас высечь, так что еще долго сесть не сможете. Так что за послание и от кого? Ну же, я жду.

Платон Софокл Аристотель Громов совсем растерялся, застыл с графином и рюмкой в руках, поморгал, еще секунду помедлил и заговорил с отчаянной решимостью, будто бросился очертя голову с моста в реку. Двое его друзей — оба борцы за святое дело, отсидевшие восемь лет за решеткой, — сумели бежать и добрались до Англии, где надеются получить помощь и поддержку, полагаясь, как я понимаю, на давнишнее обещание, которое так и не было выполнено. И вот возникла мысль: не соблаговолит ли ваша милость дать ровно через две недели костюмированный бал. Что-нибудь такое роскошное, изысканное, и чтобы дамы непременно надели свои лучшие украшения… уж ваша милость, как никто другой, знает толк в таких вещах… всякие вальсы и фейерверки, шампанское, фуа-гра и канапе с перепелкой… в общем, он, Громов, не смеет, разумеется, давать советы, а уж тем более приказы, он просто-напросто почтовый ящик на

службе человечества… передает послание, и все… И тогда кое-кто из друзей, находящихся ныне в бедственном положении, сможет тоже принять участие в маскараде и…

Он замолчал и, глядя вбок, словно напуганный собственной дерзостью, опрокинул еще одну рюмку хереса. Леди Л. лихорадочно соображала. Ее ничуть не ужаснуло сказанное, наоборот, ею овладело радостное нетерпение, неистовый восторг: она увидит Армана, наконец-то! Все остальное — сущие пустяки.

— О, Перси, то был миг ослепительного счастья! Я вдруг подумала, что все вернется. Мы уедем вдвоем в Сорренто или в Неаполь, или куда-нибудь еще подальше, например, в Стамбул — как раз недавно на званом ужине наш посол в Турции расхваливал мне этот город. Вдвоем в каике на Босфоре — вдвоем с Арманом, — да что может быть прекраснее! В моем теперешнем положении я могла дать ему все, вплоть да самой немыслимой роскоши, обеспечить достойное его содержание и окружение. Естественно, время от времени придется кого-то убивать — я понимала это и предпочла бы, если можно, чтобы это был какой-нибудь президент республики, а не король, учитывая мои связи, — а иной раз отвлекаться

на то, чтобы взорвать какой-нибудь мост или пустить под откос поезд, но и такие забавы я теперь могла себе позволить, ничем особенно не рискуя, ведь никому и в голову бы не пришло подозревать меня. Я еще немного сердилась на Армана, он поступил со мной жестоко, и нелегко было забыть восемь лет одиночества, на которые он меня обрек, но — можете, если угодно, считать меня слабой и легкомысленной — все-таки была готова все ему простить. В путаной и осторожной речи Громова ясно прочитывались его распоряжения: предполагалось грабануть драгоценности у всего лондонского высшего общества, и на меня рассчитывали в подборе гостей. Я прямо слышала ироничный шепот Армана: “Раз выбора у нас все равно нет, постараемся хоть развлечься”.

Звуки Скарлатти все доносились из концертного зала. Громов изрядно выпил и размахивал в такт головой и рукой с зажатой рюмкой. Музыка кончилось, послышались аплодисменты.

— Говорите, их двое?

— Двое. Великий, знаменитый человек и коротышка ирландец с кривой шеей. Сначала было трое, но один умер в тюрьме.

— Бедняга, — сказала леди Л. — Что ж, все это довольно интересно. Скажите им, что я подумаю.

И приходите на следующей неделе. Но не тайком и в приличном костюме. Вот держите.

Она сняла с пальца перстень и протянула ему:

— Продайте его. А теперь уходите.

Громов поставил пустую рюмку на столик, почтительно поклонился и направился к окну. Походка его выдавала плоскостопие. Прежде чем вылезти, он обернулся, тяжело вздохнул и жалобно проговорил:

— Бедный Громов! Никогда через дверь, всегда через окно и всегда только ночью.

С этими словами он исчез.

Леди Л. откинулась на спинку кресла. Музыка снова заиграла, на этот раз доносились приглушенные аккорды Шумана. На губах хозяйки дома блуждала легкая улыбка, полуприкрытые глаза неотрывно смотрели на кружевную красную розу, которую она держала в руке.

Глава XII

Поэт-лауреат сидел навытяжку в викторианском кресле, на обивке которого, как в земном раю, мирно резвились вышитые львы и лани, собачки и голубки. Сэр Перси никогда не заходил в летний павильон и теперь настороженно и с неодобрением обводил взглядом его внутренность. Впечатление складывалось крайне неприятное. Взять хотя бы огромную позолоченную кровать в восточном вкусе с балдахином и укрепленным над ней совершенно неуместным зеркалом — явный намек на гарем, а то и на что похуже. Он старался не смотреть на это ложе, но оно так и лезло в глаза, а проклятое зеркало будто бы цинично ухмылялось. Все обличало сомнительный вкус, во всем сквозило что-то ненормальное, нездоровое. Тут были портреты усатых и бородатых вояк, похоже турок, склонившихся над томными пленницами; русские иконы, на которых вместо ликов святых нарисовано углем лицо одного и того же молодого мужчины, сумрачного, но очень красивого; маски, наргиле, плетеный манекен со старинным испанским

платьем, горы мягких подушек и подушечек, необычная ширма, сделанная из игральных карт: сотни наклеенных рядами пиковых дам сверлили вас темным, сулящим недоброе взглядом. И разумеется, со стен смотрели морды домашних любимцев леди Л., кощунственно написанные поверх человеческих лиц на фамильных портретах лорда Л. Собаки, кошки, обезьяны, белки и попугаи в придворных нарядах надменно взирали на сэра Перси Родинера из своих позолоченных рам. Об этой прихоти леди Л. Перси давно знал: она могла часами стоять у мольберта, превращая лицо какого-нибудь доблестного предка своего супруга в портрет очередного новопреставившегося барбоса. Целая галерея: коты в доспехах, коты — бенгальские уланы на скакунах, коты-адмиралы, наблюдающие в подзорную трубу с капитанского мостика за Трафальгарской битвой; козы в мундирах и меховых шапках гренадеров королевской гвардии, гордо держащие копытом пожелтевший пергамент с полустершимся благородным девизом *Je maintiendrai*[32]; голова попугая вместо благообразных черт какой-нибудь прабабушки, умильные мордочки целого

[32] Примечания: 32
Я выстою *(франц.)*.

выводка котят на групповой фотографии ее внуков вместе с преображенной в мартышку няней и великолепный черный кот в героической позе — на коне, с саблей наголо, сжимающий хвостом флаг одного из лучших полков Ее Величества.

— Это мой дорогой покойный Тротто, — сказала леди Л., указывая на портрет. — Здесь он командует бригадой легкой кавалерии в Крымской кампании. То, как вы знаете, была славнейшая страница нашей истории.

Сэр Перси осуждающе посмотрел на нее.

Леди Л. сидела в просторном, позолоченном, с пурпурной обивкой барочном кресле перуанской работы, спинку его венчала львиная голова, подлокотники заканчивались когтистыми лапами. Голос ее был взволнованным, как каждый раз, когда она поминала своих усопших друзей. Поэт-лауреат озирался с суровым, настороженным видом. Он не мог отделаться от чувства неведомой опасности. Что-то зловещее, тягостное витало в воздухе. Возможно, причиной тому отчасти была духота и скопившаяся на всем пыль, каждый кусочек ткани или дерева заявлял о себе своим особым запахом ветхости и затхлости и будто бы чего-то требовал. А скудный свет, пробивавшийся сквозь закрытые жалю-

зи, еще подчеркивал странность этого домика и всей его обстановки. Казалось бы, смешно и думать о какой-то затаившейся здесь опасности, но мысль эта не отпускала сэра Перси. Ему вдруг пришло на ум, что анархисты, бывшие приятели леди Л., могли использовать павильон как склад своих бомб. А что, идеальное место, они могли храниться где угодно: в занзибарском шкафу, инкрустированном перламутром и слоновой костью, или в приземистом, черном, обитом медью сундуке, в котором когда-то держали золото мадрасские банкиры и который еще Глендейл привез откуда-то с Востока.

— Так, — сказал он хмуро, стараясь скрыть нарастающую тревогу. — И что же вы тогда сделали?

Теперь он верил каждому слову в этой истории: тут, в павильоне, она приобретала явственные очертания истины. Он снова покосился на кровать: совершенно непотребная, дикая для Англии вещь.

— Тунисская кровать, — пояснила леди Л. — Я сама купила ее на рынке в Кайруане. Она из гарема бея и…

— И что вы сделали тогда? — поспешно перебил ее сэр Перси, чтобы не слышать рискующие

оказаться сногсшибательными подробности.

— Две недели на устройство хорошего костюмированного бала — это мало. Дел было невпроворот. А тут еще принц Уэльский изволил сообщить, что намерен оказать нам честь — по пути из Бата остановиться у нас на уикенд, а значит, придется принимать его свиту, человек двадцать, и, разумеется, мисс Джонс — считай, два дня уйдут на всякий вздор и суету. В моем распоряжении, конечно, имелось сто сорок слуг, не считая мужа, но все же следовало лично убедиться, что Эдди[33] хорошо устроен, этикет до тонкости соблюден, и в придачу все должно выглядеть легко и непринужденно — таковы правила игры. Скука смертная. Но я жила судорожным ожиданием, я знала, что скоро увижу Армана, и остальное, я уже говорила, не имело значения. Как он перенес жестокую разлуку, сильно ли я для него изменилась, по-прежнему ли он так страстно любит все человечество, что мне почти не остается места в его сердце, или же после полученного урока малость к моей сопернице охладел? Шансов мало, но все-таки… ведь даже величайшие поэты в конце концов спуска-

[33] Примечания: 33

Имеется в виду будущий король Великобритании Эдуард VII, старший сын королевы Виктории.

ются с небес на землю, и бывали минуты, когда я, кажется, не сомневалась: он обнимет меня и попросит прощения за все то зло, которое мне причинил. Я сломала голову, составляя список приглашенных, старалась припомнить всех, кого обязана позвать по правилам вежливости, не дай бог кого-то забыть и обидеть, и, признаться, не без удовольствия представляла себе, как кое-кто из моих кичливых приятельниц лишится своих побрякушек. Собственно, у меня и выбора-то не было: сделай я хоть самую робкую попытку воспротивиться, и Арман запросто разоблачит меня, расскажет всем о моем прошлом, а тогда неминуем громкий скандал. Оно и к лучшему: это избавляло от угрызений совести и моральных терзаний. Никуда не деться, надо выпить чашу до дна, и, честно говоря, я предвкушала ее сладость. Вот только встреча с Саппером немножко смущала, я чувствовала себя больше виновной перед ним, чем перед Арманом: Армана я любила, а маленький жокей отсидел восемь лет за решеткой ни за что ни про что. Я была бесконечно предупредительна с принцем Уэльским, он, должно быть, остался доволен. Мой муж тогда лелеял надежду добиться назначения послом в Париж, и помощь Эдди, который недавно помирился со

своей матушкой, оказалась бы бесценной. Вот я и старалась, как могла. Я и сама не отказалась бы от роли жены английского посла в Париже — занятно было бы взглянуть на Париж под другим углом зрения. Вообще Париж — такой город, где легче чем где бы то ни было сочетать дела сердечные и государственные, и если бы Арман согласился пожить хоть какое-то время, отложив в сторону свои идеи, ничто не помешало бы нам провести там несколько счастливых лет. Я поселила бы его в укромном особнячке, обеспечила всем, что нужно для безбедной жизни, а пожелай он тайно продолжать свою политическую деятельность, я бы могла помочь ему и в этом при условии, что он будет соблюдать меру и осторожность. У меня оставалась робкая надежда, что тесное общение со всяческими подонками в тюрьме излечило его от идеализма, что они хоть как-то обкатали его, привили ему толику здорового реализма, — словом будущее виделось мне в розовом свете. Настолько, что я уже представляла себе, как Арман с моей помощью станет депутатом парламента. Мне ведь было всего двадцать пять лет, и я еще была полна иллюзий. Сгорая от нетерпения, я металась по дому с блуждающим взглядом и мечтательной улыбкой, чем изрядно удивляла

мужа. Меня так распирало от счастья, что я ни с того ни с сего бросалась ему на шею или нежно пожимала руку. Пожалуй, никогда он не был так обласкан. А то вдруг бежала в комнату сына, хватала его, покрывала поцелуями, зарывалась лицом в его кудри и вся сияла; я жалела, что он еще мал, мне так хотелось все ему рассказать, и я не сомневалась: он поймет и простит. И всюду меня словно бы сопровождал взгляд Дики, полный иронии и безусловного одобрения.

Вскоре опять явился Громов, на этот раз в приличном виде, днем, и, расхрабрившись, зашел с парадного входа. Мы обсудили все детали. Было решено, что беглецы с наступлением темноты проникнут в павильон, переоденутся там, а затем смешаются с толпой гостей. Веселое было занятие подбирать им костюмы. Для Саппера я, недолго думая, приготовила жокейский наряд: черно-оранжевые, в цветах моего мужа, камзол и картуз. Для Громова — облачение францисканского монаха, как мне показалось, идеально подходившее к его внешности. А для Армана, не без особого умысла, — белый парик и наряд вельможи при дворе Людовика XV; таким образом я восстанавливала справедливость, поскольку благородству души подобают не меньшие почести, чем благо-

родству крови. Бывший баритон Ковент-Гардена почтительно слушал меня стоя, держа в руках свой котелок, и опасливо, ошарашенно поглядывал на принца Уэльского, который прогуливался перед домом с моим мужем. Переминающийся на своих плоскостопых ножищах, он был похож на пингвина, и я подумала, что, если чуточку обтесать его, из него получился бы отличный дворецкий, которого мне как раз не хватало. Но все же отказалась от этой мысли — он слишком много пил.

Глава XIII

Гости прибывали поездом на вокзал Вигмор, где их с утра поджидали кареты. Прохладительные напитки подавали на лужайке под роскошным навесом в венецианском вкусе, разукрашенным, как положено, пухлыми розовозадыми амурчиками и юными богами, летящими в колесницах по небесной лазури, все такое прелестное, фривольное и веселое; казалось, легкомысленно-розовый цвет бросает вызов черному, а нежно-голубой — кроваво-красному. Ничего общего с великим искусством, служащим в соборах культу страдания и превращающим музеи в места мучительной агонии.

Около семи все отправились наряжаться в карнавальные костюмы, и тотчас дом наводнили слуги, нагруженные париками, тюрбанами, плащами и шпагами, зазвучали раздраженные голоса: кому-то понадобились щипцы для завивки, у кого-то потерялись запонки. Большинство гостей привезли свою челядь, а некоторые на всякий случай еще и собственного парикмахера или костюмера.

Леди Л. нарядилась герцогиней Альбой, чей портрет висел на почетном месте на главной лестнице; прежде чем спуститься в бальный зал, она на миг остановилась перед легендарной герцогиней и мысленно обратилась с пылкой мольбой к той, что умела любить такой самозабвенной и порой такой жестокой любовью. Когда лорд Л. после долгих колебаний остановился на костюме венецианского дожа, она невольно улыбнулась — подходящий наряд, если вспомнить, что все дожи Венеции сочетались браком со стихией моря, бездонного и полного тайн.

К десяти часам шампанское уже изрядно взвинтило смех и голоса гостей, арлекины, волхвы и восточные принцы любезничали с неизбежными Шехерезадами, пастушками и Британиями перед тремя буфетами по двадцать метров в длину каждый, за функционированием которых надзирал сам мэтр Фортнем, а цыганский оркестр, с большим трудом отбитый у “Кафе-Рояль”, играл степные мелодии, от которых разыгрывается аппетит и которые хорошо идут под закуски. Леди Л. в радостном возбуждении сновала среди гостей, она почти не слышала, что ей говорят, и только скользила глазами по костюмам, маскам, фальшивым носам: он уже должен быть здесь, и она

искала его в толпе конкистадоров, Дон-Жуанов, великих инквизиторов, разбавленных горсткой фараонов с золотой бородкой. Конечно, у нее еще не до конца прошла обида на него за то, что он так жестоко поступил с ней, заставил почти восемь лет изнывать от тоски; наверное, он тоже на нее сердит и отчитает ее, как он умеет, но все это, она не сомневалась, забудется после первого же поцелуя. Она обошла зеленую гостиную с попугаями, где сотни красно-зеленых и сине-желтых птиц порхали под потолком, а черномордые обезьянки скакали в домашних джунглях и были явно не прочь прыгнуть на люстры или на головы кавалеров и обнаженные плечи дам, и вошла в большой бальный зал, где уже закипел на черном мраморном полу веселый вихрь первого вальса; держа веер в руке, она стала озираться по сторонам, кружась, как куколка под стеклянным колпаком музыкальной шкатулки, и вдруг заметила его — он стоял у раскрытой стеклянной двери, ведущей на большую террасу, между францисканским монахом с перепуганным младенческим личиком и скособоченным жокеем. Шумная цепочка персонажей комедии дель арте, будто сошедших с полотна Тьеполо, приплясывая и разбрасывая конфетти, пронеслась между ним и леди Л., но по-

том она снова встретилась взглядом с маркизом в шелковом камзоле и пудреном парике. Костюм сидел на нем как влитой — она словно увидела все его тело. Маркиз любезно поклонился, а она протянула руку и подошла к нему с чарующей улыбкой.

— Арман Дени в придворном наряде, — продолжала рассказ леди Л. — Одно это многого стоило. К сожалению, тогда еще не было фотографов. Мы стали танцевать; не удержавшись, я легонько погладила кончиками пальцев его затылок и время от времени касалась губами мочки уха, — ему это, думаю, не слишком понравилось, не тот он человек, чтобы играть в галантные вольности. Но мне во что бы то ни стало хотелось наказать его, перетащить из его привычного мира в картину Фрагонара. Он не изменился, а звериный блеск в глазах от еле сдерживаемой ярости делал его еще прекраснее. Прелесть до чего он был красив! Я заметила, что он выпил, чего раньше с ним никогда не бывало. Но он, как-никак, провел восемь лет в тюрьме — более чем достаточно времени, чтобы задуматься о человеческой натуре, и, может быть, он усомнился, так ли она хороша, может быть, теперь, когда она показала, на что способна, он хоть немного разочаровался в ней.

Голос его стал хриплым, прерывистым, в глазах застыло злобное, изможденное, свирепое выражение — бешенство, иначе не скажешь. Словом, легко можно было вообразить, как он лет десять — пятнадцать спустя валяется под мостом через Сену в обнимку с литровкой красного, брошенный и забытый “ею”, столь любимой чопорной дамой, далекой принцессой, которая нашла над кем измываться среди новых несчастных поклонников, — был анархист да весь вышел… Вы себе не представляете, дорогой Перси, что я чувствовала. У вас воображения не хватит. Боюсь, в вас нет ни капли экстремизма, для вас террор — это что-то происходящее в Испании или на Сицилии, так ведь? Что-то, имеющее отношение к политическим страстям и только. Вам не понять этого желания разорвать на куски и его, и себя, принадлежать ему безраздельно, служить ему рабски и…

Она умолкла. Поэт-лауреат сидел, уставившись в одну точку и тщательно избегая смотреть на нее. Один Бог знает, какую нежность и жалость мог бы он увидеть на этом лице, которое, как ему казалось, он знал наизусть и которое являло собой образец неувядаемой молодости и чистоты, не подвластных времени и законам природы.

Леди Л. закрыла глаза. Она улыбалась. Будет все отрицать до конца, чтобы совсем вывести его из себя, насладиться его возмущенными взглядами и горестными восклицаниями, почувствовать живую плоть и кровь под впившимися в него когтями.

— Я в восхищении, мадам. Вы прекрасно умеете предавать.

Они были такой обворожительной парой, что танцевавшие рядом на мраморном полу феи, Полишинели, Нельсоны, Бонапарты и Клеопатры замедляли кружение, чтобы полюбоваться герцогиней Альбой, которая улыбалась в объятиях придворного Людовика XV в белом шелковом камзоле; ее кавалера никто не знал, но каждый жест его был полон того природного достоинства, которое аристократы узнают с первого взгляда, а его мужественная красота возбуждала любопытство женщин и бесила мужчин.

— О! Арман, Арман…

— Полно, полно! Люди смотрят. Нам надо любезно беседовать.

— Послушай…

— Какие невинные глазки, какой удивленный вид… Отлично сыграно. Как же — голубая кровь! И благородные поступки: выдать полиции ре-

волюционеров, так и подобает знатной особе. Ложь, лицемерие, предательство… Настоящая светская дама.

— Арман…

— Да, Арман. Бордель не всегда делает женщину шлюхой, для этого нужно другое: блеск, роскошь, красота — и готово дело, она продаст и себя, и друзей.

— Это не я…

Видеть его боль, слышать упреки, которые он цедит сквозь зубы, — о, это было упоительно! Ему так шел клокочущий в нем гнев. Леди Л. нежно сжала его руку:

— До чего ты красив!

— Не бойся, я не собираюсь мстить. Ты нам еще нужна, так что ничем не рискуешь. И вообще, по-моему, месть — это что-то слишком личное, мстят только эгоисты. Ты, я — пустяки, не считается! Кто мы такие — так, покружит нас в вальсе, и все. Важно другое: наши враги повсюду одержали верх, все наши типографии закрыты, бойцы рассеяны по свету, не имеют средств ни на что, тогда как правящая верхушка и торговцы оружием вот-вот погонят народы на бойню, а социалистический Интернационал со своими белыми перчатками и сладенькими сказками для

убаюкивания пролетариев оттесняет нас со всех позиций. Нам нужно много денег. И теперь-то, когда ты стала настоящей шлюхой, ты будешь нам очень полезна.

— Глендейл следил за каждым твоим движением, он все знал, это он…

— Да ладно, говорю же, хватит. Когда ты раздевалась, чтобы потешить клиента, ты никому не делала зла. Зло не делается без штанов. Такова буржуазная мораль. Для настоящего скотства они, напротив, одеваются. Наряжаются в мундир или фрак. Никто и никогда не злодействовал с голым задом.

— Арман…

— Да-да, Арман. Давай! Договаривай. Для полноты картины. Арман, я люблю тебя. Известная ария, ее поют все кому не лень. Бизе, “Кармен”, Гранд-Опера, чистая публика ходит туда, чтобы насладиться благозвучными пошлостями, скрыть свое безобразие под слоем косметики… Меня ты любишь, и люблю я, так берегись любви моей… Знаем. Видели. Уразумели. Не зря восемь лет отсидели в тюрьме.

— Это Глендейл…

— Отлично лжешь. И это хорошо, потому что тебе придется скоро лгать, как никогда еще не

приходилось, это я тебе обещаю. Тебя ждет роль в большой игре. Ты останешься там, где ты есть, будешь якшаться со своими Ротшильдами и Ульбенкянами, герцогами и лордами, но работать будешь для нас, для угнетенных масс, для трудового народа, невидимого с тех высот, на которые ты взобралась. Для человечества.

Нет, он не изменился. “Она”, его Идея, по-прежнему повелевает им. И он все так же в нее влюблен. Что бы “Она” ни вытворяла, он всегда найдет для нее алиби и оправдания. Вину за все человеческие мерзости, преступления, за все подлости и жестокости он возлагал только на один класс, одну среду, одно общество. А идеальное человечество оставалось выше всех подозрений. Идея — высокочтимая, недосягаемая дама со славным именем, которое ничто не могло очернить. Но голос Армана трепетал так пленительно, что слова не имели значения.

— Арман…

От вальса, шампанского и нахлынувших чувств у нее кружилась голова, и она плохо соображала. Из последних сил старалась держаться в рамках приличия, не прижиматься к нему, не пожирать его влюбленным взглядом, гасить блаженную улыбку. Кем она была в тот миг: всеми почи-

таемой и обожаемой, несравненной леди Л., кумиром всех мужчин — прямо сейчас в этом зале нашлось бы не меньше полудесятка таких тайных воздыхателей, — или же все еще Аннеттой, готовой на любые авантюры и безумства, лишь бы урвать у жизни еще капельку преступного счастья?

— Давай уедем, Арман! Прямо сейчас. Забери меня.

— Никаких больше телячьих нежностей. Ты останешься тут, на своем пьедестале, и будешь работать на нас.

Вальс подходил к концу, и ей понадобилось взять себя в руки, чтобы усвоить инструкции Армана: они встретятся в бильярдном зале после следующего танца, потом, когда праздник будет в самом разгаре, Арман, Громов и Саппер обойдут весь дом и соберут все драгоценности. Они разошлись, леди Л. сделала несколько шагов по черно-белому мрамору, остановилась, выпила бокал шампанского, вежливо выслушала сэра Уолтера Донахью в костюме червонного валета, который выбрал именно этот момент, чтобы поговорить о Лессепсе и панамском скандале, а затем побежала в спальню сына. Лунный свет ласкал личико спящего мальчика, лежащая

поверх одеяла ручонка сжимала Панча с красным крючковатым носом и хитрыми глазками, которыми он сверлил леди Л. Она порывисто склонилась над сыном и прижалась губами к теплому ушку. Он шевельнулся, повернул голову, но не проснулся. Однако ей достаточно было ощутить его легкое дыхание, чтобы к ней вернулись решимость и трезвость, и, вернувшись к гостям, она держалась с той непринужденной уверенностью, которую совершенно напрасно называют “королевской”.

— По сути, я осталась простолюдинкой, — сказала леди Л. — и, к счастью, еще не окончательно превратилась в знатную даму. Это меня и спасло. Во мне была сильна природа, и каждый раз, когда при мне говорят о самках, которые защищают своих детенышей — об этом хорошо писал Киплинг, — я понимаю, что совершила нечто ужасное, но мне не в чем себя упрекнуть.

В зеленой попугайной гостиной небрежно игравший хвостом Мефистофель говорил о политике с Джоном Буллем в цилиндре, точной копией карикатуры из “Шаривари”. Арабский принц — на самом деле посол Голландии при Сент-Джеймсском дворе — излагал свое мнение о ситуации в Трансваале сухопарому пирату с

черной повязкой на одном глазу и кроваво-красным платком на голове — то был не кто иной, как Сент-Джон Смит, бессменный секретарь Министерства иностранных дел. Председатель Королевского суда, один из самых строгих и грозных судей своего времени, явился в костюме Казановы — как трогательно, подумала леди Л.; он пил шампанское и болтал с францисканским монахом, у того на лбу крупными каплями выступил пот, он безуспешно пытался избежать взгляда судьи и беззвучно молил о помощи.

— Да, ваша честь… совершенно согласен с вами, ваша честь… — лепетал несчастный Громов хриплым, убитым голосом, явно не слыша ни слова из того, о чем толковал ему собеседник. — Как мне сказал однажды Дизраэли… так хорошо сказал… да что бы он ни говорил, это всегда была сущая правда… великий человек Дизраэли… бесспорно… Мы с ним охотились в Шотландии на куропаток… или на перепелок?.. В разрешенный, конечно, сезон. Все по закону! Никогда в жизни я не браконьерствовал, честное слово… Я всегда говорю: уважайте закон, если хотите, чтобы он вас уважал…

Бедняга попятился и попытался спрятаться за спиной леди Л., он едва дышал, лицо взмокло от

пота, даже глаза, казалось, утопали в маслянистой жидкости.

— Знаете, это уж слишком, меня всего трясет. Это же тот самый судья, который засадил меня на три года за оскорбление Короны после демонстрации во время юбилея королевы… И он еще сказал, что точно меня где-то встречал. Такие потрясения не для моего слабого сердца, я ничего не вижу, перед глазами туман, чуть не помер от страха. Нельзя же так со мной… Я, как-никак, последний во всей Англии анархист, других не осталось, меня надо беречь.

В бильярдной зале Арман мило беседовал с тремя восхищенными дамами, одна была наряжена Марией-Антуанеттой, другая — Жанной д'Арк, а третья — Офелией или, может, Джульеттой. И каждой, с раздражением подумала леди Л., лет на двадцать больше, чем их героиням. Наконец Арман отделался от них и подошел к ней. Они вместе вышли на освещенную террасу и остановились на краю тьмы. Позади них поднимал волны смеха и возгласов веселый, быстрый, женственно-мягкий вальс, такой легкий, будто бы насмехался над всеми земными тяготами.

— Все готово?

— Я оставила сумочку в спальне. Там мои драго-

ценности. Второй этаж, последняя справа дверь. Забери их. Там целое состояние, хватит на целый год убийств. Но не грабь никого больше. Это слишком опасно.

— Разве мадам не хочет, чтобы ее лучшие подруги остались без своих сокровищ? Разве это не весело?

— Очень весело, дорогой, но нельзя же все время смеяться.

Леди Л. подставила лицо и грудь ночной свежести, надеясь, что прохлада несколько успокоит ее.

— Арман, Арман, неужели тебе никогда не хотелось хоть немного пожить для себя?

— Все время хочется, но надо держать себя в узде.

— Не хочется быть счастливым?

— Я бы рад, но мне для этого нужна компания.

— Сколько там жителей на земле? Миллиард? Или два?

— Погоди, они скоро дадут о себе знать, и ты точно узнаешь, сколько их на свете.

— Можешь забрать драгоценности. Ограбить всех моих гостей. Но оставь хоть сколько-нибудь для себя. Давай уедем на время куда-нибудь вместе. В Турцию, в Индию…

— Нет, ты никогда не поймешь, что такое любовь.

В его голосе прозвучало отчаяние. Леди Л. вспомнила, что говорил ей единственный настоящий анархист из всех, кого она знала: “Ваш любовник — визионер. Он из самой старинной на земле благородной породы неисправимых идеалистов. Его родословная восходит к королю Артуру и странствующим рыцарям, искателям Святого Грааля, и ему кажется, что он нашел эту святыню в «Анархии» Кропоткина. Они там во времена волшебника Мерлина тоже убивали всех подряд, правда, драконы тогда были другие. Стремление к абсолюту — вещь любопытная, но довольно опасная: она почти всегда ведет к кровавой резне. Это один из тех страстных поклонников человечества, которые в один прекрасный день в состоянии любовного аффекта уничтожат предмет своей страсти. — Да, милый Дики, вы правы, тысячу раз правы, но он так красив! — Ну так закажите Больдини его портрет в виде лунного Пьеро, а с оригиналом поступите разумно”.

Однако ни эти насмешливые доводы, которые она научилась запускать, как шарманку, чтобы заглушить глубинный безутешный голос самой

жизни, ни искусно скроенное обличье, которое она пыталась сделать своей второй натурой в надежде забыть истинную, первоначальную, ни обезоруживающее вранье — ничто больше не могло пересилить потребность захватить, удержать, взять себе красоту, которая устремлялась к другой, к сопернице, имевшей миллионы безымянных лиц… И она вдруг с такой силой ударила веером о каменную балюстраду, что он сломался.

— Пойдем отсюда.

Глава XIV

Держась обеими руками за подлокотники кресла, сэр Перси Родинер настороженно озирался по сторонам: должна же быть веская причина, по которой леди Л. привела его сюда. Было бы крайне нежелательно, чтобы его увидели в таком месте. Где-то, скорее всего за зловещей ширмой с пиковыми дамами, помещались невидимые часы, и после ужасных историй с террористами, бомбами и убийствами казалось, что мерное, неумолимое тиканье предвещает нечто фатальное, что часовой механизм вот-вот сработает и все это непотребство взлетит на воздух. Что-то скандальное, сомнительное, непристойное ощущалось во всей обстановке, которая, как ни противься, будила нездоровое любопытство, склоняла к определенного рода фантазиям. Взять хоть украшавшие стены откровенно скабрезные картины: белокурые женщины с обнаженной грудью, быть может, даже англичанки, как ни оскорбительно подобное предположение, томно обмирающие в объятиях смуглых усачей где-то на берегах Босфора; рисунки, для которых слабоват эпитет

“смелые”; парочка так называемых французских гравюр, в детали которых лучше не всматриваться; чернокожие всадники, похищающие слишком уступчивых белых красавиц; любовные сцены на разных широтах — в мчащихся по снегу тройках, на классических итальянских балконах в столь же классическом лунном свете, — заряжавшие эротикой сам воздух в павильоне. Поэт-лауреат сидел с неприязненным видом, а леди Л. смотрела на него и явно потешалась, что коробило его еще больше. Однако вся эта мишура ничего не стоит, что же за тайное сокровище она здесь прячет? Что именно требуется с помощью сэра Перси куда-то перенести из павильона, которому грозит — и, как он теперь убедился, поделом — неминуемый снос? Единственным полотном, имевшим товарную ценность, была картина Фрагонара — купание одалисок. Для поэта-лауреата стало новостью, что Фрагонар писал также на восточные сюжеты, он думал, что его бесстыдство ограничивалось Францией.

— Не знал, что вы коллекционируете такую… э-э… дребедень, — сухо заметил он.

Леди Л. играла концами наброшенной на плечи испанской шали и что-то разглядывала с нежной улыбкой. Сэр Перси проследил ее взгляд: он был

направлен на портрет в роскошной позолоченной раме: полосатый котище в матроске с синим воротником и берете с красным помпоном. Какой, интересно, кенарь или попугайчик займет место его собственной физиономии, когда она пополнит галерею усопших любимцев, грустно подумал он.

— Некоторые из собранных тут вещей дороги мне как память. А павильон скоро снесут, вот я и хотела, чтобы вы помогли мне перенести их в другое место. — Она капризно тряхнула головой, сэр Перси отлично знал этот жест. — Я провела тут изрядную часть своей жизни, и эта, как вы говорите, дребедень всегда верно служила мне. Помогала мечтать, вспоминать.

“Как же странно, — подумала она, едва веря сама себе, — как странно очутиться здесь теперь, в глубокой старости, спустя шестьдесят, да, целых шестьдесят лет, и знать, что от прежнего ничего не осталось, все исчезло и бал окончен”. Между тем она до сих пор явственно слышала звуки чардаша, видела кружащиеся под люстрами пары и цыганский оркестр из скрипок и тамбуринов с дирижером, который зачем-то нарядился в разолоченный австрийский мундир; перед глазами у нее так и стоял кособокий жокей в черно-оран-

жевом камзоле и картузе, со стеком в руке, вон он, возле открытой двери, в кружке внимательно слушающих его людей. Все они крепко выпили. Среди них сэр Джон Эватт, чья лошадь по кличке Зефир выиграла дерби в тот год.

— Позвольте-позвольте, — говорил Эватт. — Вы утверждаете, что наездником Урагана на последних скачках в Аскоте были вы?

— Я самый, сударь, собственной персоной, — слегка задиристым тоном отвечал жокей.

— И на Сириусе из конюшен Ротшильдов тоже скакали вы?

— Клянусь честью, я! — отчеканил Саппер. — Отличная лошадь — Сириус.

— И вы дважды выиграли кубок на Национальных скачках?

— Так и есть, сударь, дважды, два года подряд.

Трое мужчин, покачиваясь с пятки на носок, холодно разглядывали друг друга.

— В таком случае, сударь, должен сказать вам, что вы явились сюда в костюме Саппера О'Мелли, знаменитого жокея-коротышки, который сломал себе шею двенадцать лет назад на Венсенском ипподроме.

— Совершенно верно, сударь, у вас прекрасная память.

— Этот Саппер — превосходный жокей! — сказал Эватт.

— Полностью разделяю ваше мнение, — согласился Саппер.

— Жаль, что он сломал шею, — сказал Эватт.

— Да, очень-очень жаль, — согласился Саппер.

— Что, интересно, с ним потом случилось?

— О, много разного, сударь.

— Он был самым лучшим, — сказал Эватт.

— Единственным и неповторимым, — согласился Саппер.

— Давайте выпьем за беднягу! — предложил Эватт.

— Давайте! — согласился Саппер.

Тут в беседу вмешался Арман, сочтя, что игра становится опасной. Он отвел Саппера к буфету, где их уже ждал Громов. Он жутко трусил и для поддержания духа пил горячий бульон чашку за чашкой.

— Не могу больше, — сказал он, чуть не плача. — Меня мучает страх, грандиозный, величественный, по-своему прекрасный, но… Прямое действие не для меня. Я всегда пламенно воспевал героическую борьбу за справедливость, всю душу в это вкладывал, но как доходит до дела — меня нет, я теряюсь, пасую. Мое оружие

— голос, а не пистолет. Отпустите меня! Я еще на многое способен: могу петь зажигательные песни, поднимать толпы на бой… Но для этого надо по меньшей мере остаться живым. Тут от меня никакого толку, и я, поверьте, лучше послужу святому делу прекрасными стихами, проникновенными песнями и речами. А сейчас я в таком состоянии, что, кажется, скоро умру.

— Мне тоже так кажется, — холодно произнес Арман.

Чашка с бульоном задрожала в пухлой ручке певца, глаза его увлажнились.

— Пора, — сказал Арман. — Начнем с последнего этажа и будем двигаться вниз. А ты, — он повернулся к Аннетте, — следи, чтобы оркестр играл без остановок. Нам нужно сорок минут, а потом приходи в павильон, мы будем там.

— Постарайтесь все же никого не убивать, друзья мои, — попросила леди Л. — От крови остаются пятна.

Она проводила их взглядом — в сиянии тысячи огней, умноженных до бесконечности зеркалами, всех троих быстро поглотила карнавальная толпа, они исчезли, растворились в Истории среди Карлов Великих, Брутов, Чингисханов и Ричардов Львиное Сердце. Леди Л. задержалась на миг

перед портретом герцогини Альбы, взглянула ей в лицо и мысленно спросила, что бы та сделала на ее месте. Но божественная герцогиня жила в другое время, ее желания и капризы имели силу закона. А современный мир не приспособлен для любви. Леди Л. вздохнула, легонько помахала рукой портрету и вернулась в бальную сутолоку; она переходила от одного гостя к другому, а за ней увязывались то раздобревший Скарамуш, то обсуждавший биржевые ставки Яго, то сразу несколько Робин Гудов — каждый был рад позабыть рядом с ней о своей одышке или о государственных тайнах. Всюду царило веселье. К леди Л. подошел ее супруг, как всегда довольный всем вокруг и особенно самим собой:

— Поздравляю, Диана, бал удался на славу, сдается мне, это один из лучших, какие мы когда-либо давали, на этом сходятся все гости. Это была блестящая идея. Кстати, Смити заверил меня, что вопрос о после во Франции все еще обсуждается. На его взгляд, вы, с вашим знанием страны, идеально подходите на роль супруги посла. Он обещал замолвить за меня словечко перед королевой, но, судя по всему, ее величество не спешит принимать решение.

— Еще бы, — сказала леди Л., — нашу дорогую

Викторию шокирует сама мысль, что кто-то будет представлять ее в Париже. По ее мнению, Париж — нехорошее место.

Их разговор прервало появление длинной цепочки танцоров; крепко держась за руки, они неслись по залам. Леди Л. окружили трое итальянских *monsignori,* трое молодых аристократов: лорд Риджвуд, лорд Брекенфут и лорд Чиллинг. Лихие юнцы изо всех сил старались поддерживать дурную репутацию, которую их отцы заслужили при Регентстве, и оставаться при этом в рамках, что называется, "рискованного" поведения, то есть слыть дерзкими, но не скандализировать общество; леди Л. была уверена, что их буйство не шло дальше того, чтобы выпить шампанского из бальной туфельки или посетить какую-нибудь девицу, да и то лишь после того, как ее тщательно осмотрит семейный врач. Она со смехом увернулась от них и снова направилась в бальный зал.

Веселье шло на спад. Усталость и шампанское делали свое дело. Австрийский посол, наряженный Талейраном, — Меттерних, верно, перевернулся в гробу! — дремал в кресле; осоловевшего герцога Норфолкского — он же Генрих Восьмой — почтительно поддерживал Эдди Ротшильд.

— Как же так, Диана, вы за весть вечер ни разу не танцевали со мной!

— Сейчас, Банни, сейчас, — пообещала она. — Дайте мне чуточку передохнуть.

Она украдкой посмотрела на итальянские часики, приколотые к носовому платку. Почти три. Сорок минут давно истекли. Музыка к утру стала звучать визгливо и исступленно. Леди Л. подошла к дирижеру, маленькому кругленькому человечку с тараканьими усами и глазами навыкате, и попросила его поиграть еще полчаса. Он вежливо кивнул, не переставая размахивать руками, однако некоторые гости уже покидали бальный зал, она заметила миссис Ульбенкян, жену судовладельца, в костюме Гения красоты, которая довольно тяжело поднималась по лестнице. “Господи, только бы они уже закончили!” Если все обошлось, они уже должны были убраться со своей добычей. Переодевшись в павильоне, они успеют в пять утра сесть на поезд в Вигморе; полиции понадобится некоторое время, чтобы очухаться и начать поиски, так что леди Л. могла выиграть еще несколько месяцев, но она знала: они никогда не оставят ее в покое, она у них в руках, и рано или поздно разразится скандал. Так, может, лучше опередить события и уехать

вместе с ними, исчезнуть в ночи, все бросить, устранить, если надо, себя, чтобы не выплыла наружу правда и ребенка, так мирно спящего под лунным светом, никогда не настигло ужасное пробуждение… Но голова ее, несмотря ни на что, была слишком трезвой, чтобы ее удалось заморочить. “Уж не ищу ли я предлог, чтобы сбежать с Арманом?” — подумала леди Л. Она взяла еще бокал шампанского — рука ее дрожала.

И тут на весь дом раздался пронзительный женский крик. Ей почудилось, что от него рухнут стены, однако оркестр только что заиграл с удвоенной силой, стараясь оживить увядающий праздник, так что, похоже, его никто, кроме нее самой, не услышал. Она быстро подошла к главной лестнице, на миг замерла и прислушалась.

Едва войдя в свою спальню на втором этаже, миссис Ульбенкян увидела жокея и францисканца, перекладывающих из шкатулки в кожаный мешочек ее украшения, монах еще держал в руках жемчужное колье. Она отшатнулась и позвала на помощь — это ее крик услышала леди Л. Подбежавшая горничная как раз успела подхватить лишившегося чувств Гения красоты и, в свою очередь, очутилась лицом к лицу с “убийцами”. От ужаса она потеряла дар речи, и

только несколько часов спустя удалось добиться от нее чего-то связного. Арман в это время был в соседней комнате. Он выскочил в коридор: ни окаменевшая горничная, ни бесчувственный Гений красоты непосредственной опасности не представляли, поэтому он, жестом позвав за собой сообщников, двинулся к черной лестнице в южной стороне дома, быстро спустился на первый этаж и затерялся в толпе гостей. Все трое могли таким образом преспокойно выскользнуть в парк, но Громов, слишком долго сдерживавший свой страх, на этот раз совсем обезумел. Не помня себя и одержимый одной мыслью — скорей бежать! — он с кожаным мешочком в одной руке и жемчужным колье в другой опрометью кинулся к главной лестнице. Еще и теперь, проснись в нем хоть капля здравого смысла, он мог бы спастись — в зале было шумно, то там, то тут раздавались возгласы и смех, крика никто не слышал, вовсю гремел чардаш. Но вместо того, чтобы спокойно пойти к выходу, злополучный неудачник ошалел еще больше, сначала он заметался — шаг вверх, шаг вниз по ступенькам, а потом прислонился к стене и застыл, словно пригвожденный к месту, с перекошенной физиономией, все так же сжимая в одной руке мешочек, в другой, словно напоказ,

жемчужное колье. Весь вид его не оставлял сомнений: вор, пойманный с поличным. Оркестр замолк, танцующие пары остановились, повисла тишина, все взоры обратились на француженца, сжавшегося у стены, как загнанный зверь.

Наверху мелькнула фигура жокея — он ринулся было за Громовым, чтобы его удержать, но мгновенно сориентировался и дал деру, а трясущегося грабителя скрутили молодой Патрик О'Патрик в костюме конкистадора и сэр Аллан Дуглас, наряженный статуей Командора.

Как только они схватили великого баритона, тот жалко забормотал:

— Я не хотел! Это все они, они заставили меня, они мне угрожали…

Леди Л. поднесла руку к груди — Громов смотрел прямо на нее, и она чувствовала: он вот-вот назовет ее имя, а будь его руки свободны, уже указал бы на нее пальцем. Но тут рядом с ней из толпы гостей выступил Арман и медленным, уверенным шагом стал поднимался по лестнице с пистолетом в руке. Громов увидел его, и лицо его засветилось надеждой; решив, что подоспела помощь, он стал бешено вырываться. Арман сделал еще шаг вверх и в тот миг, когда Громов уже почти освободился, поднял пистолет и всадил

ему пулю в сердце. Монах с изумленным выражением на круглой жирной физиономии стал оседать посреди лестницы.

— Дамы и господа, — заговорил Арман громким голосом, — я инспектор французской полиции Лагард. Сюда на бал пробрались скрывшиеся под масками беглые преступники, я вынужден просить вас всех оставаться на местах и соблюдать спокойствие. К сожалению, нам придется проверить личности всех присутствующих. Это не займет много времени. Мои коллеги из Скотленд-Ярда уже арестовали известного анархиста Армана Дени. Но мы знаем, что несколько его сообщников еще находятся здесь. Никто ни под каким предлогом не должен выходить из дома, парк стерегут собаки.

Гости онемели и приросли к полу там, где застала их эта речь, как будто сотни восковых персонажей, сбежавших из музея мадам Тюссо, вернулись на свои места и замерли в живописных позах. Арман невозмутимо взял из рук Громова мешочек и колье, спустился и поклонился леди Л.:

— Мадам, я весьма удручен этим досадным происшествием и сожалею, что не смог его предотвратить. Примите мои извинения. Нам

понадобится всего несколько минут.

Он снова поклонился и еле слышно прошептал:

— Жду тебя в павильоне.

С чуть заметной иронией он оглядел напоследок ошеломленные лица гостей и не торопясь, с мешочком и драгоценным колье в руке, вышел на террасу. Леди Л. взошла на несколько ступенек и обратилась к гостям:

— Что ж, сегодня вечером нам выпало, надо признать, весьма неожиданное развлечение, но скоро все, как обычно, уладится. Маэстро, музыку, прошу вас!

Сначала тишину сменил шепот, потом послышались возбужденные голоса, и наконец зазвучала музыка, и восковые фигуры ожили. Даже те, кто еще до этого брутального интермеццо намеревались покинуть праздник, теперь сочли своим долгом остаться, чтобы не посрамить пресловутую британскую флегму и помочь хозяйке праздника выйти из затруднительной ситуации. Они танцевали, словно не видя распластавшегося на ступенях мертвого монаха с недоуменным выражением в широко раскрытых глазах.

Леди Л. приподняла подол платья, переступила через тело и поднялась в свои апартаменты.

Пробежала через спальню, будуар, бельевую и выбралась на черную лестницу. Там никого не было, но слышался топот слуг по коридорам и доносились голоса из кухни; одна из горничных рыдала, другая истерически смеялась, ее пытался успокоить лакей с сильным лондонским акцентом. Она сбежала по лестнице и очутилась на заднем дворе. Но не прошла и несколько шагов, как увидела на залитых лунным светом каменных плитах какую-то скрюченную фигуру. Должно быть, Саппер попытался спуститься с четвертого этажа по водосточной трубе, но сорвался и вот теперь лежал, в последний раз выбитый из седла, а рядом с ним валялся его стек. Она немного постояла над освещенным бледной луной телом, потом снова подхватила подол и бегом помчалась к павильону.

Глава XV

Ночь в бешеной пляске трепала ее синюю мантилью, облака неслись по небу, словно заразившись ее смятением. Она бежала по седой от лунного света каштановой аллее, мимо пустых мраморных скамей и статуй, оживавших на миг от прихотливой игры теней и света; со стороны пруда слышался лай собак, а позади, будто преследуя ее по пятам, надрывалась музыка — оркестр заиграл “Предрассветный чардаш” Ладоша, звенели степные мадьярские тамбурины. Ее гнал почти животный страх явиться слишком поздно, не застать Армана, сердце стучало так, что кажется, содрогался весь парк. Она свернула на тропинку меж розовых кустов, колючие ветки царапали ей руки, цеплялись за платье, высокие каблуки мешали бежать, и она проклинала их по-французски. В конце концов она сняла туфли и бросилась босиком к павильону, нацелившему свой темный шпиль на Большую Медведицу.

На столике в изголовье кровати догорала оплывшая свеча, на стене подрагивала тень Армана. Он стоял посреди комнаты с пистолетом в

руке, напряженный, как хищный зверь в засаде, ей это было хорошо знакомо, именно таким он не раз являлся ей во сне, и она, беззащитная, ожидала, что зверь вот-вот прыгнет, но ничего не происходило; даже лицо его напряглось, к чуткой настороженности примешивалась ледяная ирония; пистолет был направлен прямо на нее, так что ее внезапно кольнула мысль, что он и ей не до конца доверяет и ее остерегается.

— Это было обидно, — сказала леди Л., — после всех доказательств любви, которые я ему дала.

Поэт-лауреат испуганно посмотрел на нее.

Пиковые дамы все так же мрачно буравили его черными глазами, треснувшее зеркало над кроватью похабно ухмылялось, чувство грозящей опасности нарастало с каждым щелчком невидимого маятника; ему чудилось что-то зловещее, притаившееся в темном углу. Лицо леди Л. в короне седых волос оставалось невозмутимым, рука властно сжимала трость, в глазах плясали веселые искорки.

— Да, я сразу почувствовала, что он настороже и не совсем мне доверяет. А я и в самом деле была готова или, если угодно, способна на все, чтобы удержать его. Не знаю, что руководило мною больше: любовь или же ненависть к сопернице,

к этой шлюхе по имени Человечество, которой он так преданно, так беззаветно служил. Он смотрел на меня холодно, отстраненно, насмешливо, как будто… да, как будто видел меня насквозь, и это задевало меня за живое: если его милашка воображает, что я сказала свое последнее слово и уступлю его ей, то она ошибается. Пусть он готов на что угодно ради ее прекрасных глаз и ничто его не остановит, но и я тоже знаю, что такое безграничная страсть, и я ей это докажу. Как-никак, неплохую школу прошла. Арман был так хорош в придворном костюме из белого шелка — белое ему очень к лицу, — и такое в нем было… благородство, иначе не скажешь; да и лицо осталось таким молодым и прекрасным, несмотря на все ужасные, ужасные испытания, которые он пережил за годы тюрьмы, что я не сразу бросилась в его объятия, а на миг застыла, пораженная сходством: на меня как будто смотрел мой сын.

Сэр Перси Родинер содрогнулся:

— Это чудовищно, просто чудовищно.

— Вы ничего не смыслите в экстремизме, мой друг, — несколько раздраженно сказала леди Л. — И даже не представляете себе, что такое страсть. Так чем брюзжать, лучше бы поучились. В нем горело пламя несокрушимой любви, и отдать

другой эту силу и эту красоту, да, красоту… было просто немыслимо. Каждая любящая женщина поняла бы меня. Мне уже было не так важно оставить его себе, как не отдать сопернице.

— Арман, послушай…

— Потом, потом. Где Саппер?

— Он мертв.

— Как?! Что ты говоришь?

Он весь сжался, и черты его исказило такое страдание и смятение, что в ней опять затеплилась надежда: может, он наконец признает себя побежденным.

— Я бы уехала с ним вместе или догнала его через несколько дней, мы были бы только вдвоем, как когда-то в Женеве, могли бы отправиться в Турцию или в Индию — туда, где этот… Тадж-Махал; после всего, чего я от него натерпелась, он был просто обязан подарить мне капельку счастья.

Леди Л. покачала головой, вспоминая ту неисправимую Аннетту, упрямую девчонку, которая, несмотря ни на что, мечтала о счастье вдвоем, романтичной гондоле и всесильной любви. Она так и осталась все той же субреткой с розово-голубым сердечком, королевой уличных танцулек… Однажды кто-то, кажется, другая великосветская

дама, баденская принцесса Алиса, сказала леди Л. по поводу трагедии в Майерлинге[34]: “Ну, знаете, любовь… оставим это для бедных”.

Арман посмотрел на кособокую свечку, которая словно глядела на него, и печально улыбнулся еле теплившемуся огоньку.

— Бедный Саппер. Без него будет еще труднее… Славный был парень. Ну да ладно.

Только и всего: что значила смерть товарища по сравнению с человечеством. Он вытащил из кожаного мешочка горсть украшений и рассмеялся:

— Вот растяпа! Черный день для толстосумов. Зато мы теперь сможем действовать. Этого хватит по меньшей мере на год.

Она закрыла глаза. Ей было хорошо известно, что значит это “мы”. Это значит “никто”. Да еще Свобода-Равенство-Братство в котелке и с усами, которые придут за ним, наденут наручники и отведут на гильотину. “Как странно, — подумала она, — стоит благородной гуманной идее не в меру разрастись, как она превращается в скудоумие”.

---

[34] Примечания: 34

30 января 1889 г. в охотничьем замке Майерлинг неподалеку от Вены были найдены тела совершивших самоубийство кронпринца Рудольфа и его возлюбленной, баронессы Марии Вечеры.

— Хватит, чтобы снабдить дюжину летучих групп и разослать их по всей Европе.

— Да, милый. Это будет чудесно.

— Начнем с Вюртемберга — там кипят студенческие волнения. Важно показать людям, что мы наносим удары, когда и где захотим. Трусы забьются в норы, а слабых всегда привлекает сила. Устроим серию покушений от Елисейского дворца до Ватикана. Фарколо прав: только большой пожар может рассеять мрак.

— Надо срочно кого-нибудь убить, — сказала она.

Но юмор до него не доходил. Это был безнадежно серьезный человек, и несовершенство мира его чистая душа воспринимала как личное оскорбление. Он прямо создан был для грандиозных работ по оздоровлению общества, которые приводят или на костер инквизиции, или на должность великого инквизитора. Но если не вслушиваться в слова, то сам голос его, на ее беду, был столь пылким и мужественным, что действовал магнетически.

Она села на кровать и стала снимать чулки. Раздевалась и холодно, с вызовом смотрела на него: по крайней мере, вот этого ее соперница никак не могла ему дать. Платье скользнуло на пол,

и скоро она осталась совершенно нагой, лишь волосы украшала мантилья и красная кружевная роза. Арман колебался. И не выпускал из руки пистолет — видимо, все еще не конца ей доверяя.

— У нас нет времени.

— Так поспеши, — нетерпеливо сказала она.

Он наклонился к ней, обнял за плечи… Она мгновенно, безоглядно поддалась желанию и застонала, вряд ли понимая от чего: от горя, мстительного торжества или от счастья, какого больше никогда не будет. И никогда не вырывалось у нее столько нежных и грязных слов вперемешку со вздохами.

— О, нечего кривиться, Перси! Должна же я объяснить вам, как сама докатилась до терроризма. Иначе вы осудите меня слишком строго. А впрочем, из всего этого можно вывести мораль. Мой друг доктор Фишер, который читает такие прекрасные проповеди, не преминул бы это сделать. Например, вот что значит жить без Бога, как мы с Арманом, быть преданными здешнему миру и заслужить проклятие за то, что искали только счастье земное. В этом мы с ним оба грешны, каждый по-своему. Мир тогда превращается в джунгли. Выходит, что ради счастья человечества или своего собственного позволено все. Нечему

обуздать нашу страстную, уничтожительную жажду жизни. Вот видите, еще не все потеряно, и я, возможно, тоже присовокуплю к своей истории поучительный конец. Да нет, я вовсе не смеюсь над вами. Просто допустим, что я нигилистка. Правильно Дики говорил. Анархисты — слишком робкие люди, у них не хватает духу идти до конца. А в страсти, в экстремизме всегда нужно идти до конца и даже еще чуть дальше. Иначе и на вас найдется экстремист похлеще. Мне по сердцу нигилисты. Хотя бы в одном Арман был прав: свобода — высшее благо. И я наконец-то освобожусь от тирана. На этот раз это я преподам ему урок терроризма и предоставлю вдоволь времени, чтобы обдумать его…

Она глубоко вздохнула и стала одеваться. Задуманное не казалось ей теперь чем-то страшным или жестоким — она просто-напросто не могла поступить иначе. Приводя в порядок платье и прическу, она чуть виновато улыбалась, в точности как ее сын, когда нашалит. Она простилась с Арманом, а он теперь больше никогда ее не покинет. Они будут постепенно стариться вместе, рядышком, мирно, без лишних историй и вдали от Истории. Она даст ему урок, покажет, на что способно его любезное человечество,

когда, в свою очередь, отдастся своей страсти. Эту идеальную даму никто и никогда не мог скомпрометировать, ее репутация остается незапятнанной, как ни мучит она тех, кто ее любит, и он, навек в нее влюбленный, размышляя перед смертью, тоже как-нибудь исхитрится найти ей оправдание: обвинит во всем имущие классы, общество, среду. Получится не очень-то красиво, но ему ли не знать, что не бывает страстной любви, которая хоть в чем-то не нарушит хороший тон и правила приличия.

— Мне мерещилась одобрительная улыбка Дики. Я вспоминала его совет: “Бросьте и вы свою бомбу. Действуйте с той же позиции, что и он, — с позиции эмоционального любовного экстремизма. Хотя вы не находите, что он слишком правый? Не надо забывать: левее анархистов есть еще нигилисты. Есть мы”.

Нельзя сказать, что у нее сложился четкий план, скорее то был просто импульс женской натуры.

Арман лежал на кровати с закрытыми глазами, словно дожидаясь, когда к нему вернется его тело. Она избегала смотреть на него — все-таки было немножко неловко. Но ее защищала броня безусловного внутреннего одобрения и поощре-

ния, и в каждом биении сердца она ясно слышала гнев и ярость.

— Если бы в мое время, Перси, у женщин хватило сил взбунтоваться, как я, мы все могли бы избежать кровавых ужасов наступившего нового века. Мне представлялось, что я веду женщин на восстание против храмов абстрактных идей, где отправляют культ разума среди отрубленных голов и самые высокие душевные порывы оборачиваются предсмертной агонией.

Вдруг сэр Перси Родинер преобразился, в нем появилось что-то вульгарное. Он, как блатной, сощурил глаз, цинично улыбнулся, будто намекая на своей богатый жизненный опыт и знание женщин, и излишне грубым, развязным тоном, как девственник, спрашивающий у первой в жизни проститутки “Сколько?”, сказал:

— Короче говоря, вы выдали его полиции.

— Не будьте полным идиотом, Перси, — возразила леди Л. — Подумайте, какой бы вышел скандал. Он бы все рассказал, и я была бы уничтожена. Помню, меня охватил какой-то задор и очень новое для меня чувство, что у меня есть некая миссия. Что-то очень похожее на чувство гражданского долга, которое проснулось во мне впервые. Если помните, то было время первых

выступлений суфражисток, и я уверена, если бы то, что я сделала, стало известно, мое имя вошло бы в историю наряду с первыми феминистками Англии.

Арман открыл глаза и медленно встал. С кровати упала кружевная роза, он поднял ее.

— Вот драгоценные четверть часа, которые могут дорого мне обойтись, — сказал он.

— Уйти прямо сейчас было бы безумием, — сказала леди Л. — Тебе надо остаться здесь на два-три дня. Обыскивать мой павильон никто не посмеет. Ни в коем случае. Да и ключ от него всего один. Пусть уляжется суматоха, уймется полиция. Все думают, что ты уже далеко. А когда все утихнет, ты спокойно сядешь в Вигморе на поезд. Это единственный выход.

Он подумал, поигрывая розой:

— Отлично рассчитано, Аннетта. Какой у тебя трезвый, холодный ум.

— Еще бы! Недаром ты твердил мне о пользе логики и здравого рассудка.

Он рассмеялся и пощекотал себе розой подбородок:

— Браво.

— А теперь я оставлю тебя, дорогой. А то мое отсутствие заметят. Надо взглянуть, что там про-

исходит. До завтра. И будь спокоен. На этот раз, я уверена, все будет хорошо.

— Я тоже. И вообще… знаешь… — Он пожал плечами. — Наша жизнь… что твоя, что моя… Таких людей, как я, всегда найдется немало. Может, я не увижу торжество своих идей, но это ничего не значит, кто разбрасывает семена, не обязательно увидит жатву. Главное, чтобы жатва состоялась. А она состоится.

Леди Л. вздрогнула. Тут он прав. Таких людей, как он, всегда находится немало. И жатва состоится. Сколько миллионов голов под косу? Наступающий двадцатый век обещал стать веком кровавой жатвы.

— Верно, — сказала она. — Мы не считаемся. Двое погибнут, зато будет спасен миллиард. Одних китайцев миллионов триста. Не сомневаюсь, жатва будет знатная.

У нее дрогнул голос. И она быстро отвернулась, чтобы он не увидел ее слезы. “Слезы, — подумала леди Л., поднося к глазам платок, — все равно что уличные девки, сорок лет в школе иронии и ледяного английского юмора не научили этих потаскушек хоть какой-то сдержанности”. Она видела, что бедняжка Аннетта еще колеблется, еще робко противится. Но ничего другого не оста-

валось. Спасти мир она не могла, но могла хоть немного помочь ему. Ну а в остальном… Человечеству придется найти себе другого простачка.

Она пошла к двери и тихонько вышла в парк. Уже светало. Тишину нарушал только лай собак, провожавших луну. Она немного постояла с закрытыми глазами, прижимая руку к груди и словно окаменев, а потом вскрикнула и снова ворвалась в павильон:

— Быстро, Арман!

— Что случилось?

— Они идут сюда. Полиция! Быстрее! Господи боже мой!

На лице его, как всегда в минуты опасности, появилось насмешливое выражение, будто его жизнь была пылинкой в глазу, от которой надо побыстрее избавиться, и презрительным тоном, с дерзкой небрежностью, которая так подходила к его придворному костюму, сказал:

— Вот черт! Ну хоть пристрелим несколько мерзавцев.

— Нет!

Она стала озираться, как будто что-то искала, остановилась взглядом на мадрасском сундуке и после секундного колебания сказала:

— Давай скорее сюда!

Она подбежала к сундуку, повернула ключ в замке, приподняла тяжелую, обитую медью крышку и, заглянув внутрь, облегченно вздохнула — места хватит, в самый раз!

— Прячься быстро! Я уведу их. Да скорей же, скорей!

Он повиновался, но не спеша, не теряя достоинства, все так же держа в одной руке розу, в другой — пистолет. Она схватила мешочек с драгоценностями и кинула ему. Он посмотрел на нее с восхищением:

— А я чуть не забыл! О, мы с тобой совершим еще много великих дел!

Она нежно ему улыбнулась, особой, нежной с налетом жестокости улыбкой леди Л. Тогда-то она и выработала эту улыбку, которой вскоре было суждено стать знаменитой. Помахав Арману рукой, она закрыла сундук на три поворота ключа и медленно вышла.

Поэт-лауреат вскочил с кресла и широко раскрытыми глазами уставился на причудливый сундук, словно сошедший со страниц восточных сказок, и на утонченную английскую леди, зябко кутавшую плечи в шаль, которая стояла перед этим сундуком с ключом в руке.

— А дальше? Что вы сделали дальше?

— Ну что, я вернулась на бал. Вы же помните, я обещала танец герцогу Норфолкскому. Пришла полиция. Естественно, ничего не нашла. Я много танцевала, выпила много… очень много шампанского. Не смотрите на меня так сурово, Перси! Да, я здорово выпила. Наверно, даже напилась. Но ведь и было от чего.

— А в павильон вы вернулись?

— Иногда сложно быть одновременно женщиной и светской дамой.

— Когда же вы вернулись в павильон, Диана?

— Перестаньте голосить, Перси, я это терпеть не могу. Говорю же, я здорово выпила. И у меня как-то вылетело из головы.

– Вылетело из головы?!

— И вообще мы вскоре уехали из Англии, мужа, как вы знаете, все-таки назначили послом. Да, все в итоге кончилось хорошо. Наш сын стал, как и полагается, герцогом Глендейлом. Англичане его очень любят, и он прекрасно справляется со своим делом. Внуки Армана весьма преуспели в жизни. Подумайте только, Энтони скоро станет епископом, Роланд — министр не помню чего, Джеймс — директор Банка Англии. Да вам это и так известно. Жалко, он этого не видит. Я очень помогала им. Мне надо было дать ему урок. Ес-

ли подумать, может быть, стоило бы посвятить во всё семью. Я уверена, они помогли бы мне перенести его отсюда. Ведь скоро выборы. Если вскроется, что я сделала, консервативной партии не оправиться от этого удара.

Сэр Перси наконец решился протянуть руку к тяжелому приземистому сундуку, похожему на шахматную ладью из гигантского набора.

— Вы хотите сказать, что он все еще… что вы так и не…

Леди стояла под портретом своего кота Тротто, который командовал бригадой легкой кавалерии в Крымской кампании; его морда была написана поверх благородного лица лорда Реглана; презирая пушечные ядра, он размахивал зажатым в хвосте флагом с крестом святого Георгия. На него приветливо поглядывал попугай Гавот, чей желтый клюв и перья заменили на портрете физиономию и мундир Веллингтона при Ватерлоо. Обезьянка Потешка сражалась на Бородинском поле в кителе старика Кутузова. Пекинес Понго показывал свою голову народу на гравюре с Робеспьером, а молодой Бонапарт склонял над убитыми солдатами клювик кроткой волнистой попугаихи Матильды, которая никогда (в отличие от императора) никому не причинила ни

малейшего зла. Леди Л. с гордо поднятой головой, улыбаясь, стояла в окружении своих верных друзей. Бессловесность никогда не мешала им понимать и любить ее. Осудить ее могли бы только те женщины, которым никогда не приходилось спасать своих сыновей от вершителей Истории, или те, что способны любить не одного-единственного в жизни, а разных мужчин.

Поэт-лауреат вдруг осознал, что она что-то говорит.

— Не повезло мне. Могла бы влюбиться в пьяницу, жулика, игрока, наркомана… так нет же! Угораздило напороться на чистейшего идеалиста. Что ж, я тоже подалась в террористы. Оказалась хорошей ученицей, вот и все. Сколько раз, дорогой мой, я приходила сюда и с горьким отчаянием читала тебе оду, которую ты мог бы посвятить Человечеству, единственной, жестокой, обожаемой возлюбленной, “безжалостной красавице”[35].

Зачем, узрев вас, я, несчастный,
Качнулся, раненный стрелой,
А вы остались безучастной,
Как оловянный идол злой!

---

[35] Примечания: 35

“Безжалостная красавица” — баллада английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821).

Безумной страстью обожженный,
О, как я мог так низко пасть,
Как мог попасть я к смерти в пасть,
Твоей, любовь, рукой сраженный.

Она повернула ключ в замке и подняла крышку.

Пистолет выпал и лежал на дне рядом с кожаным мешочком, от пожелтевшего придворного костюма поднялось облако пыли. Арман сидел в задумчивой позе, склонив голову над красной кружевной розой, которую все еще держал в руке.

Библиография

Помимо классических работ по теории и истории анархизма, я опирался на следующие материалы:

Белкин. *Арман Дени, или Искушение абсолютом*. Женева, 1936

Собеский. *Романтизм, анархия и фашизм*. Варшава, 1953

Карджель. *Буржуазные анархисты XX века*. Варшава, 1959

Лалар. *Арман Дени и перманентная революция*. Париж, 1931

Гальперин. *Идеологическая порнография*. Цюрих, 1960

Дюрате. *Логика ментальных аберраций*. Париж, 1932

Шатун. *Перверсия*. Варшава, 1961

Перчатка. *Аристократия и идеализм*. Мюнхен, 1949

Блант. *Терроризм и юмор*. Оксфорд, 1953

Валер. *Арман Дени, или Смерть Бога*. Париж, 1958

Гюнтер. *Чистота крови*. Мюнхен, 1952

Наткин. *Поклонники разума*. Цюрих, 1940
Брентано. *Логика страстей.* Париж, 1932
Сарафов. *Идеализм и аристократические концепции человека*. Москва, 1960
Гарде. *Юмор, или Белый террор*. Париж, 1921
Рейнботтом. *Аристократы, оригиналы и нигилисты*. Лондон, 1961
Раттнер. *Нечаев и Арман Дени, или Отказ от человечности*. Мюнхен, 1951
Винавер. *Терроризм и смех*. Варшава, 1959
Аптекман. *Нигилизм, или Встреча с Хиросимой*. Вена, 1950
Ажуар. *Экстремизм, нигилизм и Абсолют*. Париж, 1930

Исчезновение Армана Дени после его побега из Ливорно породило множество предположений, одно фантастичней другого. Самое диковинное высказал недавно Стефан Феликсон в газете *New World*. Он якобы опознал Армана Дени в некоем анархисте, действовавшем в Америке, когда там только зарождалось это движение, он был известен под псевдонимами Синтер, Балашов, Музыка и др., но его подлинное имя так и не было установлено. Его убили во время беспорядков в Детройте в 1910 году. Автор статьи не приводит никаких убедительных фактов в пользу своей

гипотезы и опирается лишь на некоторое физическое сходство, точнее, на описания “необычайной красоты” Синтера и Армана Дени.

В заключение хочу выразить благодарность месье Франсуа де Льенкуру за бесценную помощь, которую он оказал мне в моих исследованиях.